

Дидье ван Ковеларт Вне себя

Звоню к себе домой, а мне отвечает незнакомый голос. Озадаченно смотрю на решетку домофона.

— Да? — повторяет голос.

— Извините, наверное, я ошибся.

Потрескивание смолкает. Кнопки расположены очень близко, видимо, нажимая свою, я случайно задел соседнюю. Тыча пальцем точно в собственное имя, снова жму на черный прямоугольничек.

— Ну что еще? — недовольно откликается тот же голос.

Видимо, что-то не срабатывает. А может, это монтер пришел довести до ума проводку.

— Это четвертый этаж, квартира слева?

— Да.

— Моя жена дома?

— Кто-кто?

Собираюсь объяснить, что я Мартин Харрис, но тут дверь открывается, выпуская парочку — оба с мобильниками, поглощены прослушиванием голосовой почты. Я пересекаю холл, вхожу в лифт, и деревянная кабина, слегка подрагивая, медленно ползет на последний этаж.

На лестничной площадке темно. Ощупью нашариваю выключатель, зажигаю свет и звоню в свою квартиру. Через некоторое время приоткрывается дверь — соседняя. Сухонький старичок смотрит на меня через цепочку. Я здороваюсь. Он отвечает с видом одновременно виноватым и подозрительным: мол, у всех звонков звук одинаковый. Я киваю, извиняюсь — понимаете, нет ключей, — и оборачиваюсь: открылась моя дверь. На меня в упор смотрит некто в пижаме, лица не вижу — стоит против света. Слова застревают в горле.

— Это вы звонили в домофон?

Я спрашиваю, что он здесь делает.

— Как это что я здесь делаю?

— В моей квартире.

— В вашей квартире?

Он так искренне удивлен, что я теряюсь. Вглядываюсь, понемногу начинаю различать черты и уточняю, изо всех сил стараясь держаться нейтрального тона, что я — Мартин Харрис. Он вздрагивает. В голове теснятся мысли, одна другой смешней и безумней. У моей жены кто-то есть? И этот кто-то поселился здесь, пока я был в больнице?

— Лиз!

Мы произнесли это в один голос. Вот и она, выходит из ванной, в трусиках и черной рубашке. Я хочу войти, он не пускает. А она спрашивает, что случилось. Спрашивает у *него*, что случилось.

— Ничего, — отвечает он. — Ошиблись дверью.

Лиз смотрит на меня. Но не так, как смотрела бы жена, застигнутая с любовником. Нет. Как чужая, как женщина, к которой пристали на улице и ей неприятно.

— Сам разбирайся, — говорит она ему.

И скрывается в кухне. Я опять пытаюсь войти, незнакомец удерживает меня рукой.

— Лиз! — кричу я. — Что за шутки?

— Оставьте в покое мою жену!

Его жену? Я так и застываю с открытым ртом, до того у него уверенный вид. Он примерно моего возраста, сложением пожиже, у него звучный голос, квадратное лицо,

растрепанные светлые волосы, и на нем пижама от «Гермеса», которую Лиз купила мне в аэропорту Кеннеди. Я с силой стряхиваю его руку.

— Что вы себе позволяете? — кричит он, выталкивая меня за дверь.

— У вас проблема, месье Харрис?

Я оборачиваюсь. Старичок-сосед по-прежнему выглядывает через цепочку.

— Нет-нет, ничего, месье Ренода, — отвечает этот тип. — Уже разобрался.

Я смотрю на одного, на другого. Да что же это такое?

— Вы уверены? — настаивает сосед.

— Да, да. Просто недоразумение. Извините, что разбудили. Вы что, весь дом хотите переполошить? — продолжает он, понизив голос, и смотрит на меня так, словно призывает проявить благоразумие и договориться полюбовно. — Ладно, заходите, разберемся...

Я хватаю его за грудки — за собственную пижаму — и выволакиваю за дверь.

— Нет уж, это вы проваливайте из моего дома немедленно! И разбираться будем при всех!

— Мартин! — визжит моя жена.

Он высвобождается, ударом снизу отбив мои руки. Я не успеваю среагировать — хлоп! — и дверь закрыта. Я оборачиваюсь к старичку, тот поспешно пятится, хлопает своей дверью и запирается на два оборота. Подавив изумление, подыскиваю тон, подходящий для такой ситуации. Здравствуйте, месье Ренода, извините, я ваш новый сосед, мы еще не успели познакомиться. Он кричит из-за двери, чтобы я убирался вон, не то он вызовет полицию.

Я застываю в тишине лестничной клетки. Абсурдность ситуации обезоруживает. Как доказать очевидное, если все его отрицают, а тебе нечего им противопоставить, кроме своего честного слова? Я люблю мою жену, она любит меня, мы никогда не ссорились, по крайней мере при свидетелях, я изменил ей только раз за десять лет брака, да и то, так сказать, в рамках профессии, с коллегой на конгрессе ботаников, она об этом так и не узнала, мы с ней радовались предстоящей новой жизни в Париже — и что же все это значит? Я прихожу домой — и попадаю в объектив скрытой камеры? Я принимаюсь искать на площадке микрофоны, жучки, блики за зеркалом... Но кому я понадобился и почему Лиз с ними заодно?

Свет гаснет. Я обессиленно прислоняюсь к стене, перевожу дыхание. В горле ком, в голове пусто, под ложечкой противно сосет — этакая смесь страха и облегчения, которую испытываешь, когда дурное предчувствие сбывается. Как только я пришел в себя, я попытался дозвониться жене на мобильный — безуспешно. Меня не было неделю, а она не встревожилась, не заявила о моем исчезновении, не обратилась в полицию, хотя там ей сразу сообщили бы, в какой больнице я лежу в реанимации. И вот я вернулся, а она прикидывается чужой женой.

Я стою в потемках и гипнотизирую взглядом свою дверь: ну, откройся же, и пусть выйдет Лиз и с хохотом представит мне своего сообщника, и повиснет у меня на шее, и скажет: «С первым апреля!» Правда, сегодня 30 октября. И розыгрыши — это не в ее духе. Любовник, впрочем, тоже. Так я полагал всего пару минут назад. А теперь меня выкинули из дома, из семьи, и я больше ни в чем не могу быть уверен.

И вдруг мне все становится ясно, и я невольно расплываюсь в улыбке, до того это глупо. Да она же решила, что я ее бросил, вот так, под влиянием минуты, взял и сбежал с той блондинкой, что сидела у иллюминатора и строила мне глазки над Атлантикой, — я-то думал, Лиз ничего не заметила, она ведь приняла две таблетки снотворного и закрыла лицо маской... То-то мне показалось, что она странно себя вела, когда мы приземлились, но она всегда дуется, если видит рядом женщину моложе себя. Я попытался ее развеселить, когда мы выходили из аэропорта, она злобно фыркнула в ответ: «Главное — шито-крыто!» А когда я наклонился подобрать пояс ее плаща, хлопнула дверцей такси, да так, что прищемила мне руку.

— Послушай, это не то, что ты подумала... Я попал в аварию, три дня был в коме... осложнений не было, но меня хотели еще понаблюдать в больнице... Я пытаюсь тебе

дозвониться, с тех пор как очнулся, у тебя что-то с мобильником... Открой же, слушай! Что за дела! Я еле живой, рука болит, мне надо принять душ и... Лиз! Да открой же, черт побери!

В ответ ни звука. За дверью гробовая тишина. Сколько ни вслушиваюсь, слышу только звук поднимающегося за моей спиной лифта. Начинаю колотить в дверь ногой.

— Прекрати ломать комедию! Мне не до шуток! Открой дверь сейчас же, или я ее вышибу! Слышишь?

Из лифта выскакивает здоровенный детина и сгребает меня в охапку.

— Спокойно!

— Отпустите меня!

— Все в порядке, месье Ренода, я его держу!

Звучно поворачивается ключ в замке у соседа. Дверь приоткрывается, и старый хрыч вопит:

— Какой смысл платить за домофон и охрану, если кто угодно может сюда прийти как к себе домой?

Кричу в ответ, что я и пришел *к себе домой*.

— Тихо! — рывкает детина, до хруста стискивая мои ребра.

Он благодарит соседа за сигнал и спрашивает, чего мне надо от месье Харриса.

— Да ведь это я месье Харрис!

Хватка его медвежьих лап ослабевает, но ненадолго. Подбородком он нажимает кнопку звонка на моей двери:

— Добрый день, месье Харрис, извините, пожалуйста, этот мужчина ваш родственник?

— Ничего подобного, — отвечает голос из-за двери. — Я его впервые вижу.

— Ну? — грозно рычит детина. Тоже мне нашел доказательство...

— Что — ну? Я его тоже впервые вижу и знать не знаю!

— Зато я знаю, это месье Харрис, он живет здесь, а я охраняю этот дом. Ясно? Так что вон отсюда, живо, не то я вызову полицию.

— Вызывайте! Ну, вызывайте скорей! Этот тип выдает себя за меня, и моя жена с ним заодно!

Ни единый мускул не дрогнул на его бычьем лице.

— А документы у вас есть?

Я инстинктивно лезу во внутренний карман и тут же спохватываюсь. Объясняю детине, что я попал в аварию и потерял бумажник.

— Да не слушайте вы его! — верещит из-за двери сосед. — Это же наркоман, ясное дело, посмотрите, на кого он похож!

На кого я похож? На человека, только что вышедшего из больницы. Уже было собираюсь так и заявить, но прикусываю язык. Еще, пожалуй, решат, что я из психушки сбежал. Поворачиваюсь к своей двери и выкрикиваю умоляюще:

— Лиз, я люблю тебя! Прекрати эти шутки... Скажи им, кто я!

Я сказал это по-английски. Лиз из Квебека, и в Гринвиче мы всегда говорили между собой по-французски: в этом была некая интимность, которую я и пытаюсь воссоздать сейчас за собственной дверью, нарочито переходя на другой язык. Я клянусь ей, что она у меня единственная. Никакого ответа. Замечаю, как переглянулись охранник и сосед. Не может быть, они здесь что, все сговорились? Да нет, на сговор не похоже, это скорее намек. Так переглядываются два женоненавистника при женщине, зачисленной ими в гулящие: мол, все ясно, перепихнулась с мужиком, не сказав ему, что замужем, теперь он явился качать права, а она прикидывается, будто знать его не знает.

— Полноте, дружище, — говорит мне охранник гораздо мягче. — Вы же видите, вас тут не ждали.

Я встречаю его взгляд и киваю, тронутый отсветом человечности, мелькнувшим в его бычьих глазках. Он, кажется, поставил себя на мое место и сопереживал, словно это его не приняли и гонят прочь. Его рука, похлопывающая меня по плечу, напоминала о солидарности пьянчуг, проживающих вымышленные жизни за стойкой бара после рабочего

дня.

Он подталкивает меня к лифту. Я не сопротивляюсь.

— И чтобы я тебя, парень, здесь больше не видел, понятно? — ворчит он на первом этаже почти ласково. — Не то по-другому с тобой поговорю. Здесь шума не любят.

Спиной чувствуя его взгляд, я иду к застекленной двери. Когда она захлопывается за мной, оборачиваюсь. Сквозь свое отражение вижу, как он возвращается к себе в каморку.

— Дорогу! — орет какой-то мальчишка на роликах и едва не сбивает меня с ног.

Я снова погружаюсь в уличный шум. Мусоровоз, отбойный молоток, голоса прохожих, автомобильные гудки. Все как всегда. Все как прежде. Смотрюсь в дверное стекло — и я прежний. Коренастый, сутулый, жесткие волосы, самое обыкновенное лицо. Еще немного, и я поверю, что ничего не произошло. Вот я подхожу к дому, звоню, дверь открывает Лиз, и мы бросаемся друг другу в объятия. Где же ты был, я чуть с ума не сошла, что с тобой случилось? Я рассказываю все, про аварию, кому, пробуждение, ее неработающий мобильник, она варит мне кофе, и мы вместе идем в больницу оплатить счет. Эту сцену я прокручиваю в голове с тех пор, как пришел в сознание. Так должно было быть. Палец тянется к черной кнопке с моим именем. Но я не нажимаю ее — поворачиваюсь и ухожу.

Машинально бреду по улице среди спешащих людей и туристов и невольно ищу глазами хоть одно знакомое лицо, продавца или бармена, который видел меня с Лиз, любое свидетельство, за которое я мог бы ухватиться. Но здесь только антикварные магазины и бутики. Я сворачиваю направо, нахожу аптеку, которую мне показали в прошлый четверг. Спрашиваю ту молодую женщину, что перевязывала мне руку, описываю ее. Она в отпуске. Выхожу, возвращаюсь назад, иду вдоль витрин агентства «Франс Телеком», где Лиз купила нам мобильники. Сим-карты без абонентского договора, стало быть, продавец вряд ли мог что-нибудь запомнить, — кроме того, она уже расплатилась, когда я пришел с перевязанной рукой.

Зайдя в первое попавшееся кафе, я буквально падаю на диванчик. Мне нехорошо. Голова кружится, мысли путаются, наваливается чудовищная усталость. Меня ведь напичкали лекарствами, вкололи противостолбнячную сыворотку, да и только что пережитое дает себя знать... Я больше не я. Как будто то, что со мной сотворили, — заразно. «Вот увидите, — сказал мне нейропсихиатр, — у вас могут быть провалы в памяти, или какие-то воспоминания всплывут не сразу». Ничего подобного, я все помню. Ужасно, когда ни в чем не сомневаешься ни на йоту и не имеешь возможности доказать. Моя память в целостности и сохранности, но она работает вхолостую, без отклика, без контакта, ей не за что зацепиться.

Облокотившись на столик, обхватив голову руками, я глубоко вдыхаю запах пива и пепельницы, чтобы удержаться в настоящем, отогнать преследующее меня видение. Я ведь и правда почувствовал себя незнакомцем в глазах собственной жены. Так притвориться невозможно. Громко хохочут за стойкой рабочие, пропыленные, заляпанные краской, полные жизни. Я мысленно перебираю людей, с которыми разговаривал с тех пор, как ступил на французскую землю: кто бы мог подтвердить, что я — это я? Полицейский на паспортном контроле — но я и не разглядел его толком; таксист-кореец, который вез нас сюда, — но я не запомнил номер машины; потом таксистка, с которой я попал в аварию, да, конечно, но она знает обо мне только то, что ей сказал я, как и персонал больницы.

— Что вам угодно?

Я поднимаю глаза на официанта. Не стоит и спрашивать, узнает ли он меня. Мы сели здесь с чемоданами и распаковали телефоны, у нас была назначена встреча с хозяином квартиры, но через пять минут я обнаружил, что оставил в аэропорту свой ноутбук. Лиз осталась дожидаться ключей, а я вскочил в такси, потом — авария, кома, пробуждение.

— Что будете заказывать? — не отстает официант.

Я медлю с ответом. Сам не знаю, чего мне хочется. Не помню, что я люблю.

— Что-нибудь покрепче.

— Коньяк? Есть марочный, хорошего года, только завезли, не пожалеете.

Я сухо бросаю в ответ, что год на коньяках не проставляется. Его улыбка скисает. Я

ничего не имею против него лично, но ложь как таковая вызывает у меня приступ неудержимой ярости. Я всё читаю в его глазах: вот еще один приезжий, говорит с акцентом, а всё туда же — его, француза, учит в коньяках разбираться.

— Кока-колу, — говорю я, давая понять, что инцидент исчерпан. — С ромом.

— «Куба Либре», — механически переводит он и отворачивается.

Я привожу в порядок изрядно помятый охранником костюм, приглаживаю лацканы пиджака, заправляю рубашку в брюки. Рука болит, пальцы под повязкой еще сильнее распухли. Это чудо, что я отделался всего лишь переломом фаланг, сказал врач, решивший, что это результат аварии. Но боль отдается где-то в затылке; возможно, у меня что-то более серьезное, в больнице просто проглядели. Мне так хорошо было в коме. От тех семидесяти двух часов у меня осталось только ощущение покоя, какого-то пушистого счастья, так сладко мне спалось только по утрам в детстве в Диснейуорлде под мерный гул монорельсовой дороги над домом, когда в блаженной эйфории я парил среди праздных курортников над собственным сном... Действие капельницы с «Ксилантилом», объяснил мне врач.

А потом — склонившееся надо мной лицо Мюриэль, когда я открыл глаза, ее улыбка, радость, облегчение, слезы, капавшие на мои щеки... Нервное напряжение наконец ее отпустило. За пять лет в такси я был ее первой аварией. Попытка проскочить перед грузовиком, боковое столкновение, удар о парапет и падение в Сену. Надтреснутым голосом она восстанавливала для меня цепь событий, медленно, упирая на согласные, так говорят с глухими или с плохо соображающими стариками. Она поклялась, что, если я не выйду из комы, никогда больше не сядет за руль. Хотя, как сама же честно призналась, мое возвращение к жизни вряд ли изменит ее будущее. Нарушение 5-го класса, повестка в полицейский суд и в перспективе лишение прав. Скупая картина, но об остальном я легко догадывался по ее молчанию. Я помнил кое-что из сказанного ею у моего изголовья: как она молилась, чтобы я открыл глаза, как убивалась в отчаянии; она не стеснялась высказывать сокровенное, ведь я, по идее, ее не слышал. Разведенная, с двумя детьми на руках, из зачуханного городишка в северном пригороде, связанная пожизненным долгом за свое такси. Иссушенное заботами тело, неженственные бугорки мускулов под свитером, кое-как сколотые гребнем черные волосы, усталое лицо без косметики, глаза, которым бы смеяться и радоваться и которые уже давно только и делают, что следят за дорогой. Пожалуй, даже хорошенькая, но сильно битая жизнью и очерствевшая. Ангел, обросший противотанковой броней, в которой вдруг обнаружилась брешь. Она сама вытащила меня из воды, так мне сказали: никто из очевидцев не решился прыгнуть, люди сочли более важным записать номер грузовика, который с места аварии скрылся.

Когда я, выйдя из комы, назвал себя и не мог дозвониться до жены, она съездила проверить, живу ли я по указанному адресу. Входная дверь была закрыта, и на ее звонки в домофон никто не ответил. Когда же врачи сочли, что меня можно отпустить домой, а администрация не давала разрешения на выписку без поручительства, она меня форменным образом похитила сегодня утром, сказав, что нечего мне сидеть в тюрьме за тысячу евро в день: она сама отвезет меня домой, а я приеду и расплачусь, когда мне будет удобно, вот так. Я без конца благодарил ее, она без конца просила у меня прощения. В такси, которое одолжил ей уехавший в отпуск коллега, она довезла меня до самой двери. Оставила на всякий случай свою карточку и укатила, предварительно убедившись, что я говорю в домофон. Надо полагать, ей хотелось поскорее забыть обо мне теперь, когда все обошлось.

— Ром кончился, — сообщает официант. — Просто кока-колу или что-нибудь еще?

— Просто кока-колу.

— Насчет коньяка, к вашему сведению, производитель имеет право указывать год после тысяча девятьсот семидесятого при наличии экспертного заключения апелляционного суда Бордо, и даже до семидесятого, если произведена датировка по углероду-14.

— Извините. Давайте кока-колу с коньяком.

От его умного вида не осталось и следа — так он стиснул зубы. Надо бы спросить его, где ближайший полицейский участок, и тут я вспоминаю, что у меня нет при себе денег. Как

только он отворачивается к стойке, вылетаю за дверь.

На другой стороне улицы стоит ажан; подхожу, выслушиваю объяснения, благодарю. Он улыбается мне. С минуту я не могу двинуться с места, словно зацепившись за эту улыбку, с какой-то тайной, запретной радостью. Он не знает, кто я, но у него нет причин для сомнений; он верит мне, оказывает доверие. Под моим чересчур пристальным взглядом улыбка гаснет; ажан отворачивается, переключает внимание на машину, припарковавшуюся во втором ряду.

Собственная реакция внезапно пугает меня. Нет, так нельзя. Я должен выглядеть уверенным в себе. Это всего лишь дурная шутка, семейный кризис, через полчаса все уладится; мне очень жаль, что приходится тащить на люди нашу частную жизнь, но Лиз не оставила мне выбора.

— Документы у вас есть?

Стиснув зубы, терпеливо объясняю: нет, в том-то и дело, документы утеряны, об этом я и пришел заявить.

— Основания для подтверждения личности?

— Есть. Но... в общем, они у меня дома — это вторая проблема. Как я только что объяснил вашему коллеге, домой меня не пускают.

Полицейский хмурит брови, оглядывается на коллегу, но тот уже занят другими делами. Минут двадцать меня маринуют, посылая от одного окошка к другому, и и каждом задают вопросы, на которые я уже отвечал. То и дело прибывают задержанные: горланящие не по-французски подростки, выряженные скелетами, ведьмами и тыквами; потерпевшие с привилегированным видом прямо-таки набрасываются на офицеров полиции, и я каждый раз жду своей очереди.

— Вы француз?

— Американец.

— В консульство обращались?

— Нет еще. Я хотел, чтобы сначала вы помогли мне попасть домой, это в трех кварталах отсюда, но ваш коллега сказал, что прежде всего нужно подать жалобу.

— В каком округе проживаете?

— В восьмом.

Он вздыхает, раздосадованный: деваться некуда, мое дело под его юрисдикцией. Это рыжий парень, обгоревший на солнце, явно только что из отпуска, он не имеет ни малейшего желания тут париться и облезать под неоновой лампой за компьютером. Он поворачивается к столу, перемещается на вертящемся стуле поближе к клавиатуре.

— Фамилия?

— Харрис.

Он ждет. Я повторяю по буквам. Он щурится, нажимает на клавиши, спрашивает, не из тех ли я Харрисов, что производят хлеб для тостов. Отвечаю: нет.

— Имя?

— Мартин.

— Как женское?

— Нет, произносится «Мартин», но...

— По-французски будет «Мартен».

— Вот-вот.

— Род занятий?

— Ботаник.

Начинаю было повторять по буквам, полицейский сухо обрывает меня, он, мол, сам знает, что это такое: растения.

— Садовник, короче, — переводит он.

— Не совсем. Я заведу лабораторией в Йельском университете, а в настоящее время работаю в отделе биогенетики НИАИ.

— Как пишется?

— Национальный институт агрономических исследований, сектор 42, в Бур-ла-Рен по адресу: 75, улица Вальдека-Руссо.

Он вздыхает, жмет указательным пальцем на клавишу, стирая лишнее, — врубился наконец.

— Дата рождения?

— 9 сентября 1960.

— Место рождения?

— Орландо, штат Флорида.

— Стало быть, гражданин США.

— Да.

Мой собеседник с укоризной кивает на сидящих вдоль стены ряженных и сообщает, что Хэллоуин, между прочим, это обычай моей страны. Изображаю лицом скорбное сожаление — лучше согласиться, иначе помощи я не дождусь.

— Адрес во Франции?

— 1, улица Дюрас, Париж, восьмой округ.

— Предмет жалобы?

— Незаконное присвоение личности, попытка мошенничества, клевета, злоупотребление доверием...

— Эй-эй, я печатаю двумя пальцами!

Он заставляет меня повторить, прерывает, чтобы ответить на звонок, открывает какой-то файл. Продиктовав список имен, вешает трубку и, щелкнув мышкой, возвращается к моему заявлению.

— На кого хотите подать жалобу?

Секунд на пять повисает молчание; он поднимает голову, повторяет вопрос. Я выдавливаю из себя:

— На Мартина Харриса.

Он хмурится, смотрит на экран, вскидывает на меня глаза, медленно произносит:

— Вы подаете жалобу на самого себя.

— Нет... На того, кто занял мое место. Я не знаю его настоящего имени.

— Подробнее, пожалуйста.

— Я попал в аварию, шесть дней пролежал в больнице Сент-Амбуаз, а когда вернулся, обнаружил этого человека у себя дома.

— Незаконное вторжение?

— Можно назвать это и так. Он выдает себя за меня.

— Двойник, стало быть.

— Вовсе нет. Но я не успел познакомиться с соседями: сразу по приезде попал в аварию. Уж не знаю, как этот тип ухитрился, но он просто-напросто живет под моим именем.

Полицейский перечитывает то, что успел записать, добавляет мои последние показания, задумывается. О Лиз я не упомянул чисто инстинктивно. Я вижу, что пока моя история кажется ему правдоподобной, и не хочу превращать ее в адюльтерную разборку — хватит с меня охранника. Жалобу на незаконное присвоение личности принять обязаны. А вот если жена не признает мужа при свидетелях, это уже подозрительно.

— Брижит!

Его коллега откликается на зов, подходит.

— Дом один по улице Дюрас, кажется, выходит на Фобур,¹ так?

¹ Имеется в виду Фобур-Сент-Оноре — фешенебельная улица в центре Парижа. — *Здесь и далее примеч. перев.*

— Сейчас пошлю кого-нибудь.

— Присядьте, пока мы все проверим.

Я киваю, немного растерянно: уж очень быстро и просто все получилось. Направляюсь к ряду привинченных к стене пластмассовых стульев, но тут он окликает меня:

— Кто-нибудь может подтвердить вашу личность?

Я задумываюсь.

— Хозяин моей квартиры. Это мой коллега, профессор Поль де Кермер. Он пригласил меня во Францию для совместной работы и предоставил эту квартиру, она досталась ему от матери, и...

— Так вы квартиросъемщик или гость?

— Все будет зависеть от результатов нашего сотрудничества... Если мы решим продолжать исследования, думаю, что НИАИ начнет оплачивать мне жилье...

— Вы знаете его телефон?

— 06-09-14-07-20.

Слишком уж гордо я это произнес, но все вспоминается так легко, без усилий, и каждый раз это лишнее доказательство — пусть даже мне нет нужды проверять свою память, а этим тоном отличника, отбарабанивающего вызубренный урок, я рискую вызвать подозрения.

— Автоответчик, — говорит полицейский, передавая мне трубку.

— ...Оставьте сообщение после сигнала, — слышу я голос Кермера, — и я перезвоню вам, как только смогу. Би-ип.

— Добрый день, Поль, это Мартин Харрис. Извините, что беспокою, но не могли бы вы перезвонить мне немедленно, я сейчас в...

Рыжий полицейский поднимает глаза и кивает мне на приклеенный к стене листок, где указан номер телефона. Я диктую его автоответчику моего коллеги, а потом добавляю тем же тоном в ответ на вопрос, который наверняка возник у него при чтении последнего номера «Нэйчур»:

— По поводу орхидеи-молота: подтверждаю, она действительно опыляется тиннидеей, а не горитой.

Я возвращаю трубку полицейскому, который занят распечаткой моего заявления и никак не реагирует. Я уже злюсь на себя: вздумал продемонстрировать свои познания, да еще так нарочито, что этот парень, чего доброго, заподозрит подвох. И зачем — ведь до сих пор у него не было причин сомневаться в моей искренности?

Мучительный страх скручивает желудок; я сажусь среди подростков, которые перешептываются, хихикая, на своем непонятном языке. Появляется уже знакомая мне Брижит, она подходит к трем скелетам слева от меня с каким-то списком и телефоном в руках, жестом просит их ответить ее собеседнику, потом берет трубку сама, слушает и говорит рыжему:

— Это не албанцы.

— А, черт! Что еще осталось?

— Белоруссия, Босния, Эстония... — вяло перечисляет девушка, вода пальцем по списку.

— А чеченцы? — напоминает потерпевший, толстый мужчина в клетчатом костюме, с крайнего стула.

— Нет у нас такого переводчика.

— Черт бы драл эти восточные страны, — ворчит толстяк.

— В восьми случаях из десяти, — уточняет Брижит, — это французы прикидываются, знают, что с нелегалов взятки гладки.

Потерпевший, вряд ли собираясь отказываться от расовых предрассудков, разочарованно замолкает; потом поворачивается ко мне — мол, посочувствуйте, — и принимается рассказывать через головы трех подростков, как они вытащили у него бумажник, пока он фотографировал обелиск на площади Конкорд. Я рассеянно киваю,

занятый собственной проблемой.

— А у вас, — проявляет он солидарность, — у вас-то что украли?

— Все.

Мой ответ предельно краток. Он отпрянул, уставился на меня озадаченно, ждет продолжения. Я отворачиваюсь. Брижит и рыжий зависли на телефонах, с ленцой прочесывая переводческие круги. Если они заняли все линии, как же мне дозвонится Поль де Кермер? В то же время мне почему-то страшно и не хочется, чтобы он дозвонился. До чего же быстро поддаешься абсурду! Я по-прежнему точно знаю, что я — это я, но в окружающих уверен все меньше.

Вооруженный отряд топчет по лестнице, выбегает на улицу. Хлопают дверцы машины, воеет сирена. Я сижу, уставившись в стену. Брижит идет к автомату с напитками, спрашивает у механика, который его чинит, сколько это будет продолжаться. Тот неопределенно поджимает губы. Я машинально прокручиваю в памяти всю свою жизнь: готовлюсь дать отпор, ищу неопровержимые доводы, которые убедили бы полицию. Но сомнение с каждой минутой все сильнее отравляет мозг. Нет, любовнику Лиз, кто бы он ни был, не хватит наглости явиться сюда и выдавать себя за меня в моем присутствии. Они просто не откроют полицейским дверь, затаятся, сделав вид, будто никого нет дома, и мне останется только обратиться в консульство. Без документов, удостоверяющих личность, я ничего не добьюсь.

Рука болит меньше, но пальцы все такие же распухшие. Я пытаюсь ослабить тугую повязку, которую наложили в больнице, а сидящая рядом девчужка между тем засыпает, привалившись к моему плечу и запрокинув безмятежное личико под ведьминским гримом.

— Кончится когда-нибудь это издевательство?

Это рывкает... кто? лже-я? — ворвавшись в участок.

Не оглядываясь на следующих за ним по пятам полицейских, он подлетает к окошку, колотит в него ладонью и требует комиссара.

— Его нет, — флегматично отвечает рыжий. — И потише, пожалуйста. Ваши документы!

Я встаю. Самозванец достает паспорт, швыряет его на стол и оборачивается ко мне. Лицо его непроницаемо. Полицейский проверяет документ.

— Подите-ка сюда! Вы, вы!

Я подхожу, стараясь держаться как можно непринужденнее, хотя пульс у меня зашкаливает.

— Мартин Харрис, говорите? — шипит рыжий и сует мне под нос раскрытый паспорт.

У меня отваливается челюсть. Имя, дата и место рождения — все мое. И его фотография.

— Шутки шутить вздумали? Нам тут, по-вашему, больше делать нечего?

— Но это же я! — бормочу я растерянно, показывая на него. — Допросите его и меня тоже — увидите, что это не он!

— Довольно, месье, не то сядете за оскорбление при исполнении!

Я примиряюще поднимаю руки, заверяю его в своем уважении к мундиру и умоляю помочь мне разоблачить самозванца, который вдобавок раздобыл фальшивые документы на мое имя.

— Голословное обвинение. Этот документ выглядит совершенно нормально, — говорит полицейский, листая паспорт.

Я собираюсь было потребовать экспертизы, но вижу штемпель о въезде во Францию на последней страничке, там, где поставили его мне в прошлый четверг.

— Ну что, убедились? Вот и отлично. А теперь оставьте этого господина в покое, ясно?

— Постойте, ну посудите сами: зачем бы мне на него заявлять, если бы я был не я?

— Это к психиатру.

Я перевожу взгляд на сероглазого блондина, тот смотрит на меня с вызовом, скрестив руки на груди, и нагло ухмыляется: мол, видишь, верят мне, а не тебе. Я перебираю в уме

тысячу подробностей, которых он не может знать, и говорю полицейскому:

— Спросите, как звали его отца!

— Вы сказали: *его* отца, — с нажимом произносит тот и улыбается улыбкой победителя. — Фрэнклин Харрис, — чеканит самозванец, — родился 15 апреля 1924 года в Спрингфилде, штат Миссури, умер 4 июля 1979 года от сердечно-сосудистого коллапса в Медицинском центре Маймонида в Бруклине.

— Все верно? — спрашивает меня полицейский, заметив, как я судорожно вцепился пальцами в край стола.

— Ему-то откуда знать? — фыркает блондин.

Я уже кричу, объясняя, что причиной смерти был не сердечно-сосудистый коллапс, а аллергия на йод.

— Которая и вызвала коллапс! — заявляет он. — Кто вам это рассказал? Детектива наняли, да?

Полицейский смотрит на меня со столь явным предубеждением, что выбивает у меня почву из-под ног.

— Пойдите, не поддавайтесь на провокацию: он же все перевернул с ног на голову!

— Мой отец умер от коллапса, вызванного аллергией на анестезию с йодом, когда его готовили к операции по поводу заворота кишок, — как по-писаному шпарит этот тип, до того уверенно, что я не нахожу слов. — Он ел хот-доги на пари, и ему стало плохо...

— Неправда! Это было не пари, а ежегодный конкурс по поеданию хот-догов, который устраивает сеть ресторанов «Натан» в День независимости! Мой отец выигрывал его три года подряд и перечислял половину премии сиротскому приюту на Кони-Айленде.

Гробовая тишина накрывает полицейский участок. Все смотрят на меня. Как же я, оказывается, орал вне себя! Я бормочу какие-то извинения, заглядывая полицейскому в глаза, он не может не видеть, что я искренен...

— Послушайте, — вздыхает он, — договоритесь между собой на улице, у нас много дел.

Самозванец согласно кивает и хочет забрать со стола свой паспорт. Я перехватываю его руку, разворачиваю его к себе:

— А над чем я сейчас работаю, ну-ка ответьте? Почему я во Франции?

Он и не думает отводить глаза. Наоборот, смотрит на меня в упор и едва заметно моргает. Словно призывает к чему-то, подает знак, просит о перемирии. Или он ничего не знает о моих исследованиях, или пытается напомнить мне об их секретности.

— Профессор Поль де Кермер позвонит с минуты на минуту, — говорю я наконец, чувствуя, что заработал очко в свою пользу.

Он отворачивается, призывая в свидетели нашего собеседника:

— Лейтенант, этот человек очень хорошо осведомлен, не знаю, каким образом, не знаю, мошенник он или маньяк, но сделайте что-нибудь, чтобы он отстал от нас!

— От «нас»?

— Он явился сегодня утром ко мне домой и набросился на мою жену, утверждая, что это его жена.

— Она *и есть* моя жена!

— Она его никогда не видела, он откуда-то знает, как ее зовут, для нее это потрясение, она только что перенесла нервную депрессию...

Рыжий вопросительно смотрит на полицейских — те подтверждают. И добавляют, что в остальном там все в порядке: они проверили.

— Вы хотите привлечь его за преследование, месье?

Маленькие серые глазки буравят меня из-под светлых прядей. Я пытаюсь прекратить этот бред, не дать им вывернуть все наизнанку, напомнить факты, но рыжий лейтенант подводит итог:

— У этого господина документы на имя Мартина Харриса, вы же свои потеряли. Он женат на вашей якобы жене, она это признает. Все соседи подтвердили, что знают супругов

Харрис. Вы хотите еще что-нибудь добавить?

Я не могу произнести ни звука, только шевелю губами. Полицейский поворачивается к тому, другому, еще раз спрашивает, будет ли он подавать на меня жалобу.

— Нет, у меня полно работы, я и так потерял достаточно времени. Я готов забыть эту историю, пусть только он оставит нас в покое.

— Вы поняли? Скажите спасибо месье Харрису. Но если вас еще раз заметят возле его дома, сядете за хулиганство! Вам ясно?

Слова теснятся в моей голове, она вот-вот треснет. Я будто прирос к полу. У меня даже нет сил броситься на самозванца, который прощается и уходит, засунув руки в карманы. Свободный. С моим паспортом. Моей квартирой. Моей женой. Все плывет перед глазами, я цепляюсь за стол, чтобы не упасть. Все уже забыли обо мне. Моя жалоба исчезла с экрана компьютера. Стерта.

— Вам нехорошо, месье? Может, присядете?

Это клетчатый толстяк дотронулся сзади до моего локтя с искренним беспокойством. Со своего места он вряд ли что-нибудь понял в разыгравшейся сцене. Но он чувствует, что я ни в чем не виноват, что я такой же, как и он, потерпевший. Потому и поставил себя на мое место: ему в конце концов тоже заявят, говорит он мне, понизив голос, что обокравшие его малолетки ни при чем, нечего было провоцировать их бумажником.

— Я могу вам чем-нибудь помочь?

Я с трудом выговариваю, что хотел бы позвонить. Он протягивает мне свой мобильник. Только один человек способен прекратить этот кошмар, но вдруг и она меня не узнает? В самом абсурдном поведении окружающих появляется некая логика, если оно повторяется. Все утверждают, что я — не я, от кого же мне теперь защищаться, кому доказывать? Эта мысль уже точит меня, разъедает, разлагает... Сколько времени можно прожить, ни для кого не существуя?

Я начинаю набирать номер, но не могу вспомнить последние четыре цифры. Нахожу в кармане карточку. С жутким чувством, что, если сотрется моя память, все вернется в свою колею.

Такси останавливается у тротуара. Открывается пассажирская дверца, я сажусь.

— Неприятности? — спрашивает Мюриэль, кивая на полицейский участок.

Я хотел подождать ее внутри, чтобы она могла дать показания, но меня форменным образом вытолкали за дверь, посоветовав на прощание подлечиться. Минут десять я проторчал возле знака, запрещающего стоянку. Никто не обращал на меня внимания, только какой-то парень попросил прикурить. Я рылся для виду в карманах, когда подъехало такси.

— Что случилось, Мартин?

Я качаю головой и кусаю губы, сдерживая слезы. С тротуара раздается свисток. Ей машут: проезжайте. Метров через сто она спрашивает, куда ехать.

— Послушайте, только не думайте, будто вы обязаны... Со мной произошло нечто ужасное, вот я и цепляюсь за вас, мне очень жаль, но... Я совершенно один. История просто невероятная, меня никто не слушает...

— Сейчас, я только счетчик включу. Так что у вас за проблема?

Я набираю в грудь побольше воздуха и в общих чертах рассказываю ей обо всем, что со мной произошло с тех пор, как она высадила меня у моего подъезда. Нам сигналият сзади. На светофоре давно загорелся зеленый, она трогает с места и паркуется у тротуара за перекрестком.

— Пойдите, Мартин. Значит, этот тип говорит, что он — вы, у него документы на ваше имя и с ним живет ваша жена.

— Да, — киваю я с надеждой: тон у нее такой энергичный, что кажется, вот сейчас последует какое-то чудесное объяснение всему.

— И никто в вашем доме вас не узнает.

— Именно.

Она отворачивается, постукивает ногтем по рулю и добавляет совсем тихо, глядя в ветровое стекло:

— И вы пробыли трое суток в коме после удара головой.

— При чем здесь это? Я тот же, что и до аварии. Вы свидетель. Только вы... — начинаю я и осекаюсь.

— Только я?.. — подхватывает она, явно готовая принять любой довод в мою пользу.

Я качаю головой, сглатываю, в горле ком. Моя последняя надежда рассыпалась в прах.

— Никакой вы не свидетель. Я назвал вам свое имя, только когда очнулся. До аварии вы ничего обо мне не знали, кроме того, что я ехал в аэропорт Шарля де Голля и очень спешил.

Ее молчание подтверждает то, до чего она все равно рано или поздно додумалась бы сама. Я чувствую, что только в одно она готова верить — в мою искренность. И, если я потеряю ее доверие, у меня не останется больше ничего.

— Значит, получается, — подводит она итог, — вы ничем не можете доказать, что он — не вы.

— И что из этого следует? — огрызаюсь я, даже не пытаюсь скрыть раздражение. — Что у меня амнезия? Вы же сами видите, что нет: наоборот, я помню абсолютно все!

— Может, вам только кажется, что вы помните... Может, вы забыли, кто вы на самом деле...

Она сказала это очень мягко, подбирая слова, чтобы не обидеть: таким голосом врач, дабы не поступиться ни честностью, ни человечностью, сообщает больному, что он обречен. И, накрыв ладонью мою руку, ласково добила меня:

— Такое бывает.

— Да, бывает.

Она даже вздрогнула от моего холодного, решительного тона. Я прошу ее дать мне мобильный телефон. Она смотрит, как я набираю номер, который вспомнился без малейшего усилия.

— Может, вам вернуться в больницу, Мартин? Я сказала первое, что пришло в голову, это просто предположение, я ведь не врач. А они там, в реанимации, возможно, уже сталкивались с подобными случаями...

— Ну конечно. Вышел человек из комы и — бац! — решил, что он кто-то другой. Откуда-то взял чужие воспоминания, характер, профессию, конфликты...

— Я бы очень хотела вам поверить, но мне не с чем сравнивать... Вы же сами сказали: я не знала вас до аварии.

— Как тут включается громкая связь?

Она нажимает зеленую кнопку. Механический голос просит нас подождать, играет музыка.

— Мюриэль... Дайте мне шанс, всего пару минут, я попробую убедить вас. Если не удастся, поедem в больницу и пусть меня там запрут. О'кей?

— Я же для вас...

— «Американ-Экспресс», добрый день, Вирджиния к вашим услугам.

— Мой номер 4937 084312 75009, срок действия до июня 2004.

Мюриэль пристально смотрит на меня. Я не отвожу глаз, но перестаю дышать.

— Здравствуйте, мистер Харрис.

Мы одновременно выдыхаем и улыбаемся друг другу. Она, похоже, испытывает такое же облегчение, как и я, освободившись от вполне обоснованных сомнений на мой счет. Мне приятно видеть, как она счастлива, что я не псих. Она все еще чувствует себя ответственной за аварию и мою кому, хотя я успел создать ей массу проблем.

— Чем могу вам помочь? — спрашивает голос из лежащего между нами на подлокотнике телефона.

— Я потерял карточку, мисс, хотел бы заблокировать ее и получить новую.

— Хорошо, сэр. Вы позволите задать вам несколько вопросов?

— Пожалуйста.

Следуют обычные вопросы: место рождения, дата рождения, девичья фамилия матери... Я отвечаю сразу, не задумываясь, автоматически.

— Ваш постоянный адрес?

— 255, Соумилл-Лейн, Гринвич, штат Коннектикут. Но сейчас я живу в Париже: 1, улица Дюрас, восьмой округ...

— Хорошо. Вы желаете получить новую карточку по этому адресу?

— Нет, ни в коем случае!

Я вздрогнул так сильно, что выронил телефон. Мюриэль поднимает его, вкладывает мне в руку.

— По какому адресу, сэр?

Я вопросительно смотрю на нее. Она колеблется секунд пять, потом медленно диктует:

— Квартал Нумеа, Сите-дез-Иль, Клиши 92110. Мюриэль Караде.

Я повторяю адрес и чуть опускаю веки: спасибо.

— Ну вот, — говорю я, возвращая ей телефон. — Простите, что ввел вас в расход. Как только получу карточку, приглашаю вас в лучший ресторан Парижа.

Моя горячность почему-то действует на нее как ушат ледяной воды. Эйфория, ненадолго охватившая нас обоих, когда мне удалось доказать, что я — это я, и одновременно перекрыть кислород самозванцу, сменяется неловкостью иного рода. Она, видно, подумала, что я ее, как это теперь называется, клею. Я лихорадочно соображаю, как бы рассеять недоразумение, не нахамив ей.

— Это ничего не доказывает, Мартин.

— О чем вы?

— Я хочу сказать: это не доказывает, что настоящий — вы, а не тот, другой. Вы могли где-то подсмотреть номер кредитки и запомнить его, как и все остальные данные, впрочем. То, что вы сейчас сделали, уж извините, может с тем же успехом называться подлогом.

Я развожу руками и бессильно роняю их на колени.

— Поймите, я вовсе не обвиняю вас во лжи. Но полиции, если она вам не верит, это ничего не даст.

Я убито откидываюсь назад, упершись затылком в подголовник, закрываю глаза. Она лепечет, что ей очень жаль, но лучше все-таки поехать в больницу. Я вдруг с силой бью кулаком по подлокотнику.

— Но зачем бы мне это делать, черт возьми? Если бы я хотел присвоить чужую кредитку, то почему у вас на глазах? Ну хорошо, давайте поедem в НИАИ в Бур-ла-Рен, и я за пять минут докажу вам, что я — известный в Соединенных Штатах ботаник. Мои работы можно найти в интернете, наверняка где-то есть моя фотография...

— Ну да, прямо сейчас и поедem! — в свою очередь взвивается она. — А если там окажется не ваша фотография, вы будете уверять, что он взломал сайт...

— У вас есть другое объяснение? — фыркаю я, взбешенный тем, что она заранее обрекает любую попытку на провал, и еще сильнее — тем, что мне и в голову не приходила гипотеза, которую она сейчас так логично сформулировала.

— Да. Вы могли прочитать статью о нем незадолго до аварии...

— Ну конечно, статью, в которой был указан номер его кредитной карточки!

— Послушайте, Мартин, я уж не знаю, что и думать. Я, конечно, хочу вам помочь, но всему есть предел!

— Вокзал Монпарнас, — заявляет какой-то тип, вваливаясь в машину.

Он плюхается на заднее сиденье, захлопывает дверцу. Мюриэль, обернувшись, говорит ему, что такси занято.

— Дождь! — ноет он. — Битый час тут торчу, хоть бы одно такси остановилось! Я вас умоляю...

— Ладно, — говорю я и распахиваю дверцу. — Только одолжите мне евро на автобус, я сразу же верну, когда...

— Далеко же вы уедете с одним евро.

— У меня поезд через двадцать минут! — нудит тип на заднем сиденье.

— Мне плевать! — рывкает на него Мюриэль. — Я разговариваю! А вы сидите! — прикрикивает она на меня, закрывая дверцу. — Ладно уж, отвезу вас в Бур-ла-Рен, а его подбросим на Монпарнас, это по дороге.

Она трогает машину так резко, что меня прижимает к сиденью.

— Спасибо, — говорит пассажир.

Пока она лавирует в потоке машин, он названивает по мобильному, раз, другой, говорит, что уже едет, просит перенести совещание в Нанте, если он не успеет на поезд. Каждому собеседнику повторяет одно и то же, но разным тоном, от почтительного до приказного, и ритм грассирующего голоса окутывает меня непроницаемым пузырем. Мне хочется остаться в нем одному. Я закрываю глаза, расслабляюсь, собираю себя по частям. У кого-то тоже есть проблемы, другие, не мои, и на их решение тратится больше энергии, чем они того стоят, — это как-то успокаивает.

— А кроме вашего сайта, чем еще вы могли бы меня убедить?

Я открываю глаза и с горечью констатирую, что каких-то двух километров на размышление ей хватило, чтобы переметнуться во враждебный лагерь.

— Мюриэль, все обстряпала моя жена. Она узнала об аварии, решила, что я умер, и выдала своего любовника за меня...

— Не проще ли было остаться вдовой?

Ответить мне нечего, и я продолжаю свое логическое построение. Лиз могла вычеркнуть меня из своей жизни и вместе с сообщником ввести в заблуждение всех соседей, но и только. В Бур-ла-Рен он никого не сможет одурачить. Тут будет мало фальшивого паспорта и вызубренной наизусть биографии: двадцать лет работы, изысканий, открытий не сымпровизируешь; если он заменил меня в семье, то в профессии это не так просто.

— Мой коллега Поль де Кермер, который и пригласил меня во Францию, чтобы приобщить результаты моих исследований к своим работам, часами общался со мной через интернет, он знает все мои труды о разуме растений... Его обмануть невозможно!

— Еще только без пяти, вот это да! — радуется пассажир на заднем сиденье. — Сколько я вам должен?

— Девятнадцать десять, — отвечает Мюриэль, показывая на счетчик, который работал для меня.

Он дает ей двадцать евро, говорит, что сдачи не надо, и на рысках бежит к вокзалу, зажав под мышкой атташе-кейс. Мюриэль протягивает мне банкноту. Я качаю головой. Она настаивает: у меня ведь нет при себе денег, а проезд я оплачу, когда получу новую карточку. Как просто и естественно она снова приняла мою сторону — это обезоруживает. Я прячу двадцатку в карман.

— Простите, что вспылил, Мюриэль.

Она достает из бардачка серый пластмассовый чехольчик и выходит из машины. Чем-то стучит по крыше. Возвращается на свое место и протягивает мне телефон.

— Раз уж вы все равно залезли в долги, почему бы не позвонить в Америку? Родным, друзьям...

— Мой отец умер, где мать — я не знаю. Кроме жены у меня только знакомые, коллеги... И там сейчас четыре часа утра.

— Как хотите, — хмыкает она, шаря за счетчиком. — Мне казалось, так проще всего: вы дадите мне трубку, я опишу вас и точно узнаю, вы это или нет.

Я сглатываю слюну. Мне обидно, что ей еще нужны доказательства такого рода. Но в чем-то она права. Вот только как у нее с английским?

— Немного знаю.

— Я позвоню Родни Коулу, моему ассистенту в Йельском университете.

После третьего гудка механический голос сообщает, что абонент недоступен. Мюриэль забирает у меня телефон и со вздохом выключает его.

— Можем попробовать разбудить кого-нибудь другого.

— Нет, хватит. Номер остался в памяти, я сама перезвоню, если захочу удостовериться. И узнаю, не набрали ли вы номер от фонаря.

Она трогает с места. Съездившись на сиденье, я смотрю на поток машин. Вдруг ее рука ложится на мое колено.

— Я очень хочу верить вам, Мартин. Но меня столько раз в жизни обманывали... Какая улица в Бур-ла-Рен?

Мы входим в холл из черного стекла, украшенный чахлой юккой, засыхающей посреди сада камней.

— Добрый день, — здороваюсь я с девушкой на ресепшне.

Она поднимает глаза от глянцевого журнала.

— Месье?

— Месье Харрис.

— Его сейчас нет, что передать?

Я стискиваю зубы, стараясь не смотреть на Мюриэль, беру себя в руки и, как могу вежливо и естественно, отвечаю:

— Это я!

Она всматривается в меня, хмуря бровки, будто силится вспомнить.

— Извините, месье, я подменяю Николь и еще не всех знаю... Вас зовут?...

— Нет, вы не поняли: это я...

— Поль де Кермер здесь? — по-хозяйски перебивает меня Мюриэль.

— Нет, мадам, его тоже еще нет, он придет после трех.

Девушка поворачивается, чтобы уйти, но я удерживаю ее за локоть.

— Неправда. Он у себя в лаборатории, по утрам он ставит опыты, один, и не любит, когда ему мешают. Мадемуазель, пожалуйста, позвоните ему, 63–10. Скажите, что это срочно, по поводу тиннидей, скажите, что я от Мартина Харриса.

— По поводу?...

— Тиннидей. Это разновидность ос... он поймет.

Облизывая языком уголок губ, секретарша жмет на клавиши и говорит в селектор:

— Месье, тут пришел какой-то господин по поводу ос от месье Харриса. Хорошо.

Она улыбается мне и голосом стюардессы сообщает, что я могу пройти. Я не двигаюсь, поджав от напряжения пальцы в ботинках. Вопросительный взгляд.

— Это, кажется, напротив? — уточняю я.

— Да, простите. Вам надо выйти на улицу и перейти на другую сторону, бежевое строение под номером С42. Я открою вам калитку.

Пока мы переходим улицу, я объясняю Мюриэль, что у профессора де Кермера в НИАИ особый статус. Коллеги осуждают его за то, что он работает на стыке генетики, молекулярной биологии и паранормальных явлений. Это на словах, а не любят его за то, что его работа дает результаты, что во Франции, похоже, несовместимо со статусом ученого.

— У нас он заведовал бы кафедрой в университете и получал ежегодную субсидию в полмиллиона долларов. Здесь же все только и ждут, когда можно будет по возрасту выпроводить его на пенсию, а пока загнали в самый скверный корпус, за мусорные баки.

Она не сводит с меня глаз, когда я прохожу через калитку, автоматически закрывшуюся за нами, и, ускоряя шаг, пересекаю автостоянку. Облегченно перевожу дух, обнаруживая знакомые ориентиры. Хоть я попал сюда впервые, но чувствую себя как дома. Я узнаю все, что описывал Кермер в своих мейлах. Вот в этом сооружении, похожем на строительную бытовку, он упорно ищет доказательства того, что ДНК растений связана с «золотым

числом» и что введение нового гена чревато катастрофическими последствиями. У дверей лаборатории Мюриэль удерживает меня за руку.

— Вы с ним поаккуратней, не спешите. Он ведь уже работает с тем, другим, вы слышали. Не набрасывайтесь на него с порога: мол, здарсьте, я настоящий Мартин. Тут надо потоньше, подготовьте его, чтобы не принял вас в штаны.

Я улыбаюсь ей. Мы стоим под дождем. Чем-то она волнует меня... Эти ее кое-как подстриженные волосы, прилипшие к впалым щекам, и взгляд человека, привыкшего к проблемам, опасностям, подвохам. Тут тебе и пробки, и брань, и пассажиры, распускающие руки, и ночные грабители, и брошенные без присмотра дети... Она, конечно, справляется, и со стороны может показаться, что ей все нипочем. То, как быстро ее вполне обоснованная подозрительность сменяется неоправданным доверием, а вспышки гнева — проявлениями чуткости, трогает меня глубже, чем можно было ожидать в подобных обстоятельствах. Она, как и я, одинокий ребенок и росла, наверно, с мечтой, которую сохранила, хотя так и не смогла осуществить, и поэтому жизнь не сломала ее. Я-то пошел по пути, который выбрал еще мальчишкой, и ни разу с него не свернул, я добился всего, о чем мечталось, но совершенно теряюсь перед изменой, разрывом, ложью. Лиз — та всегда лгала, как дышала. До нашей встречи она была адвокатом, но от ее красоты я легко забывал обо всем остальном. Я просто не хотел замечать надлома за внешним лоском, неуравновешенности за сильным характером, разлада, замаскированного молчанием, слабости, спрятанной под непрошибаемым спокойствием. Как же она должна меня ненавидеть, если дошла до такого... Неужели я настолько заиклился на своих растениях? Выходит, у нее не было другого способа дать мне понять, что она есть, что она живой человек, самостоятельный и свободный, что она еще молода и на мне свет клином не сошелся.

— Подождем, пока промокнем окончательно, или все-таки войдем?

Извинившись перед Мюриэль, я нажимаю кнопку над табличкой «Сектор 42». Что-то звякает, дверь открывается.

— Входите, — бросает Поль де Кермер, не поднимая головы от микроскопа. — Я сейчас закончу, минутку.

Он мало похож на тот образ, что сложился у меня на основании его научного пути и суховатого стиля писем. Я представлял себе такого интеллектуала, озлобленного гонениями: стриженные волосы, упрямый нрав, квадратные очки. А передо мной маленький светлый человечек со стянутыми в хвост серыми волосами, в темно-синем свитере и хипповских штанах.

— Почему же Харрис толковал мне о горите, если это тиннидея?

Я удерживаюсь от ответа, который вертится на языке. Мюриэль права, надо его подготовить.

— Я выписал их аж из Австралии! — добавляет он раздраженно.

Я подтверждаю: да, именно тиннидея опыляет дракею. Он отрывает от микроскопа правый глаз с покрасневшими веками.

— Дракея? Мне говорили — орхидея-молот.

— Это одно и то же растение. Его называли в честь мисс Дрейк, нашей английской коллеги, которая первой задалась вопросом, каким образом оно размножается, если ни одно насекомое не интересуется его пыльца.

— Она полагала, что его опыляет ветер? Как и Дарвин?

— Доля истины тут есть, поскольку ветер распространяет феромоны самки тиннидеи.

— Но это может привлечь и гориту.

— Нет, Поль. Миметические опознавательные знаки привлекают только самцов соответствующего вида. Моногамия, так сказать, объясняющая, почему орхидея-молот никогда не образует гибридов.

Я встречаю взгляд Мюриэль, которая ошарашенно смотрит то на меня, то на него, закусив губу и прищурившись. Написанная на ее лице радость оттого, что она не ошиблась, поверив мне, омолодила ее лет на десять.

— Ради бога, без субтитров, — шепчет она мне на ухо. — Так интересней.

— Минутку, сейчас закончится реакция, и я к вашим услугам, — говорит мой коллега, снова утыкаясь в микроскоп. — Присядьте.

Мы с Мюриэль пробираемся через невообразимый бардак: вороха папок, перепутанные электрические провода, клетки с насекомыми и образцы растений занимают все свободное место между стеллажами и металлическими шкафчиками. Я расчищаю для нее краешек стула, сам сажусь на стопку книг.

— Так тиннидея и горита — это осы? — подытоживает Мюриэль.

О горите я велю ей забыть: я провел полгода в австралийском буже, чтобы доказать заблуждение мисс Дрейк.

— А на что она похожа, эта тиннидея?

— На муравья. Она питается личинками жуков, паразитирующих на корнях, поэтому вынуждена жить под землей, вот и утратила крылья — для рытья подземных ходов они ей ни к чему. На поверхность она выходит только для размножения и зовет самца, забравшись на цветок.

— На эту самую орхидею-молот.

— Нет. Орхидею интересует только самец тиннидеи: мужские особи сохранили крылья. И вот, чтобы привлечь его, она применяет гениальный ход: имитирует запах самки прежде, чем та выберется из-под земли. Пыльца насыщается в совершенстве воссозданными сексуальными феромонами; самец летит на цветок, ищет самку и улетает несолоно хлебавши, обнаружив обман. Но улетает он весь в пыльце и несет ее на другие цветы, что и требовалось.

— Ну и стерва эта орхидея.

— Инстинкт выживания.

— И на это у вас ушло полгода?

— Само по себе это продолжается меньше секунды. Ложное спаривание. Никому никогда не удавалось ни увидеть, ни заснять этот процесс. Поль хочет воссоздать его в лабораторных условиях с генетически измененной дракеей, чтобы определить, как влияет мутация на поведение тиннидеи.

— Значит, он перепутал ос, тот тип, который выдает себя за вас?

— Одно могу сказать наверняка: он читал последний номер «Нэйчур», это английский журнал. Я листал его в самолете. Одна исследовательница из Оксфорда изложила мое открытие, не ссылаясь на меня, да еще перепутала тиннидею с горитой.

— Короче, все вас употребляют.

Я хватаю ее за руку — чисто нервное движение.

— Вы верите мне, Мюриэль?

Она неопределенно поводит плечами.

— Я не закончила школу, никуда дальше Корсики не ездила, и у меня аллергия на укусы насекомых. Так что вы можете втюхать мне все, что хотите... — Она поднимает руку: просит не перебивать. — ...Но, по-моему, это интересно, звучит здорово и смахивает на правду. Вот. Вы ученый, это даже мне ясно. Не знаю, вы ли настоящий вы или нет, но ученый вы точно.

Сглотнув слюну, я выдавливаю из себя «спасибо».

— Вы очень помогаете мне, Мюриэль. Когда все обвиняют тебя во лжи, поневоле начинаешь сам в себе сомневаться. Не думал, что такое возможно.

— Еще и не такое возможно. Мой муж, когда мы развелись, вылил на меня столько грязи, что я потом год не могла отмыться. Сколько ни пыталась раскрыть глаза детям, они верили мне все меньше. В конце концов пришлось начать врать — вот тогда убедила. Дочка была на грани самоубийства, когда я до нее достучалась. И не думайте, ваши проблемы меня волнуют не только потому, что я искупала вас в Сене.

Я опускаю веки, киваю.

— Так вы друг Мартина...

К нам подходит Поль де Кермер. Во мне после слов Мюриэль прибавилось боевого духу: я вскакиваю и, оказавшись с ним лицом к лицу, выпаливаю «нет». Моя спутница, перехватив меня за левую руку, сжимает мне пальцы, напоминая: не спешите.

— Работать с ним исключительно интересно, — продолжает Кермер, пропустив мой ответ мимо ушей.

— Давно он здесь?

— Неделю. Правда, появился всего раз, болеет. Ангина, простыл в самолете.

— Ну конечно, — киваю я, переглянувшись с Мюриэль. — Он не может разговаривать, так что не рискует выдать себя голосом.

— Выдать себя?

Я смотрю на него со всем дружелюбием, на какое только способен, и, положив обе руки ему на плечи, слово в слово пересказываю последнее письмо, которое послал ему по электронной почте из Йельского университета. Он перебивает меня, тыча пальцем:

— А, вы Родни, его ассистент!

— Я — это он. То есть он пытается выдать себя за меня.

— Что-что?

Тут вступает Мюриэль, рассказывает об аварии, о коме и о том, как я, выйдя из больницы, обнаружил дома незнакомца в моей пижаме. Профессор слушает — его брови ползут вверх, лоб морщится, — потом поворачивается ко мне.

— Это ваша жена?

— Нет, моя жена с ним.

Волосы у него рассыпались, он суетливо подбирает их, скручивает и снова стягивает в хвост.

— Я ведь видел мадам Харрис!

— Вы передали ей ключи от квартиры в кафе «Галери», — поспешно уточняю я, не давая ему времени усомниться во мне. — В день нашего приезда. Когда я в такси вот этой мадам ехал в аэропорт за ноутбуком... Кстати, Поль, когда вы виделись с ним, у него был ноутбук?

— Как? Да, кажется... Пойдите, вы что, хотите сказать, что я работаю с самозванцем?

— Вы готовы дать показания в полиции?

— Может, еще и газетчикам, если на то пошло? Нет, ну надо же! Я, стало быть, пускаю на ветер деньги налогоплательщиков, вовлекая НИАИ в программу совместных исследований с каким-то самозванцем!

Он обессиленно плюхается на ящик.

— Но кто мог подложить мне такую свинью? Не Топик же, в самом деле!

— Топик?

— Нобелевский лауреат. Он со страниц «Монда» обвинил меня в фальсификации, когда я доказал, что эксперименты с генными мутациями кукурузы нарушают код ДНК и могут привести к появлению нового вируса. Мы, в НИАИ, находимся на государственной службе: это значит, что он обвиняет меня в должностном преступлении. Я подал на него в суд за клевету, и теперь он пытается дискредитировать меня всеми возможными способами... Но все-таки... — продолжает Кермер, помедлив секунды три, на тон ниже. — Нет, ваше предположение не выдерживает критики.

Я напоминаю, что это его предположение, а не мое. Он в негодовании вскакивает.

— В конце концов, где это видано — вот так запросто выдать себя за другого? Есть же документы, отпечатки пальцев... Что? Что я такого сказал?

— Спасибо. Я совсем забыл про отпечатки пальцев, — благодарю я и шепчу Мюриэль, что пойду в консульство, пусть мне их снимут для сравнения: они наверняка зарегистрированы в США.

— Послушайте-ка, — вдруг прищуривается Кермер, цепко ухватив меня за рукав, — а что если это вы химичите, пытаясь прикинуться Мартином Харрисом?

Мюриэль, опередив меня, заверяет, что тот начал первым, — и вдруг поворачивается ко

мне. Уголок ее рта ползет вниз. Кажется, до нее дошло, что все о наших с ним стычках она знает только с моих слов. Теперь оба таращатся на меня, точно рыбы в ожидании корма за стеклом аквариума. Я выхожу из себя.

— Послушайте, так мы ни до чего не договоримся! Позвоните этому человеку, Поль, пусть он приедет сюда, к черту ангину... и вообще, я видел его час назад, он отлично выглядел и был вполне в голосе! Скажите ему, что происходит нечто важное, только не упоминайте обо мне, чтобы не насторожить его...

— Пойдите, пойдите... Кто мне докажет, что вы — не шпион «Монсанта»?

Я застываю с открытым ртом, а Мюриэль спрашивает, что это еще за зверь.

— Межнародная корпорация, которая выпустила в продажу трансгены, якобы в целях борьбы с голодом во всемирном масштабе, на самом же деле — чтобы держать под контролем мировой рынок: семена-то приходится покупать каждый год!

Тыча в меня пальцем, де Кермер объясняет ей, все сильнее распаясь, что если я заслан из «Монсанта», то моя цель — выяснить, в каком состоянии их с Мартином исследования на предмет опасности генных мутаций.

— Думали, так вам все здесь и выложат? — продолжает он, насканивая на меня. — Размечтались! Пусть ваши хозяева придумают что-нибудь поумнее, если хотят знать, что их ждет!

— Прекратите, Поль! Я сам знаю все, ясно? Я знаю все потому, что я — это я. А на «Монсанта» работает скорее всего самозванец, возможно, это все объясняет, вы правы...

— Я не желаю рисковать! Уйдите!

— Да нет же, послушайте, все в ваших руках, вам решать! Поговорите с нами обоими, сопоставьте... Вы знаете большинство моих работ, так убедитесь, кто из нас настоящий.

— Это какое-то безумие, — вздыхает он, утирая потный лоб рукавом. — Я готовлю докладную записку для медицинской академии, у меня нет времени на... — Он вдруг умолкает, пристально смотрит на меня и медленно произносит: — В связи с каким случаем я заинтересовался вашими работами?

— Когда суд штата Висконсин, рассматривая дело об убийстве, счел возможным приобщить к делу свидетельство растений. Вы прочли в интернете мое экспертное заключение и, узнав, каким образом я разоблачил виновного, написали мне.

Он сплетает руки, поднимает правую ладонь, прикусывает ноготь, не сводя с меня глаз.

— Продолжайте.

Я лихорадочно ищу деталь, которая решила бы дело в мою пользу, хотя прекрасно понимаю, что Всемирная паутина позволяет кому угодно узнать все что угодно. Однако журналисты, освещавшие тот процесс, наверняка упустили какие-то подробности, известные мне одному.

— Преступление было совершено в оранжерее. Ни одного свидетеля, трое подозреваемых. Я предложил судье подключить электроды к гортензиям, после чего перед ними прошли один за другим двенадцать человек, в их числе подозреваемые. Стрелка гальванометра зашкалила, когда приблизился брат убитого. Дело, конечно, не в том, что растения подали сигнал, желая помочь правосудию, им на это плевать, но убийца и жертва дрались в оранжерее и помяли цветы: в присутствии виновного у гортензий сработала система электрохимической защиты. Убийца был так потрясен, что сознался.

Свой рассказ я закончил, глядя в глаза Мюриэль.

— Невероятно... — выдыхает она.

Кермер останавливает ее нетерпеливым жестом, выпаливает следующий вопрос:

— Чего я жду от нашего сотрудничества?

— Доказательства двойной контаминации. Вы предполагаете, что мутации трансгенных растений идут в нарастающем темпе и передаются соседствующим с ними нормальным растениям, которые в качестве защитного сигнала выделяют газ, способный еще больше ускорить неконтролируемые мутации трансгенов.

— На чем я основываюсь?

— На моих выводах о повышении содержания танина в листьях акаций при нападении антилоп.

— А в чем мы расходимся?

— Мутации, которые я наблюдал, были только реакцией на внешние раздражители. Но пока у меня нет оснований полагать, что внедрение гена защиты против гусеницы-огневки грозит изменением ДНК, — зато я доказал, что это совершенно бесполезно: кукуруза защищается самостоятельно, подавая газовый сигнал, привлекающий истребителей огневки, однако распространению этого газа мешают пестициды. Если отказаться от трансгенов и пестицидов, мы вернемся к самозащите кукурузы, ничего нам не стоящей и безопасной.

— Как зовут моего племянника?

Я смотрю на него — и впервые теряюсь. Роюсь в памяти, перебираю имена... Напряженный взгляд Мюриэль и тиканье стенных часов создают впечатление пародии на телеигру.

— Ну? — торопит меня Кермер.

— Постойте, — протестует Мюриэль, — ведь по вашим опытам он ответил на «отлично»...

— Это ничего не доказывает: любой хакер мог прочесть наши письма и вызубрить их наизусть. А попадают как раз на таких мелочах, на личных подробностях, которым не придают значения. Так как зовут моего племянника?

— Я пытаюсь вспомнить...

— А ведь я много рассказывал вам о нем, — настаивает он, досадливо морщась.

— Да, я помню... Мальчику тринадцать лет, вы растите его с тех пор, как его родители погибли в аварии, он не ладит с вашей новой женой, плохо успевает по математике, отлично по испанскому, у него есть подруга, ее зовут Шарлотта...

— Вы все это запомнили? — удивляется Кермер.

Теперь он слушает меня благосклонно, но нервное напряжение от этого только усиливается.

— ...Один из трех его хомячков заболел, он сам лечит его антибиотиками, гомеопатии не признает, исключительно чтобы позлить вас — это ваши слова, сейчас он в лагере в Верхней Савоие, он пишет вам, что обжирается трансгенными продуктами на завтрак, обед и ужин, но его имя — нет, извините, забыл... И что это, по-вашему, значит? Что я агент «Монсанта»? Какое-то дурацкое имя — вот все, что я помню.

Он снимает трубку телефона и начинает набирать номер с приклеенной скотчем к стене бумажки. Я подхожу ближе. Первые цифры мобильного те же, что у моего, того, что я утопил в Сене. Лиз купила ему такую же карту.

— Мартин Харрис? Добрый день, это Кермер. Надеюсь, вам лучше? Вы должны немедленно приехать: у нас в НИАИ административная проверка. Им нужна ваша подпись на командировочном задании и протокол о сотрудничестве с Йельским университетом. Жду вас. Сейчас приедет, — говорит он мне, повесив трубку, без всякого выражения, а затем, обернувшись к Мюриэль, добавляет тихо и печально: — Орельен, правда, красивое имя? Моя сестра его выбрала.

Прошло полчаса. Мы сидим в уголке лаборатории с подносами из институтского буфета, жуем холодную курицу и слушаем жалобы Поля де Кермера. Пару раз я пытался перевести разговор на себя, но он ушел от темы, сказав, что чем меньше будет знать, тем лучше: ему надо сохранять беспристрастность, чтобы «подловить» меня. Это слово засело во мне как заноза. Подобно многим несчастным людям, Кермер с его неотягощенным никакими комплексами эгоизмом и искренним отсутствием интереса к бедам ближнего способен уморить любую аудиторию, в простоте душевной даже не подозревая об этом. Мы уже знали все о смерти его сестры, о скверной обстановке в колледжах, об опасности антибиотиков в пору полового созревания и о неверном курсе социалистической партии, в рядах которой он уже двадцать лет борется за увеличение кредитований на исследования. Он

то изображает христианское смирение, то брызжет желчью и говорит без умолку с единственной, кажется, целью: не дать мне вставить слова, а себе — задуматься. Так, по-видимому, он понимает беспристрастность.

— А, вот и он!

Услышав электрический зуммер, Кермер вскакивает на свои короткие ножки, бежит нажать кнопку, открывающую дверь, подтягивает сползшие брюки и заново стягивает волосы в хвост — как будто это ему, а не мне предстоит очная ставка. Я с тревогой кошусь на Мюриэль, ищу под столом ее руку, но нахожу только колено, которое она тотчас отодвигает. Я не свожу с нее глаз, а она с плохо скрываемым удивлением — чтобы не сказать предпочтением — взирает на вошедшего высокого блондина. Я и сам знаю, что сравнение не в мою пользу: на его фоне я сильно проигрываю. Безупречный, элегантный, загорелый, этакий отлаженный робот, он прямо-таки излучает уверенность, которой так недостает мне. Да, рядом с ним я выгляжу совсем бледно... Следя краем глаза за реакцией Мюриэль, я понимаю, что он смотрится в роли меня лучше, чем я сам. Ему и рта открывать не надо, чтобы убедить: такой человек может зваться только Мартином Харрисом и не иначе.

— Ну что, — сразу берет быка за рога профессор, — у нас завелся двойник?

Самозванец останавливается среди клеток, смотрит на меня в упор, стиснув зубы. Я медленно встаю. Вытираю рот бумажной салфеткой, спокойно, без суеты — я хозяин положения. Он резко оборачивается к Кермеру:

— Теперь понятно, почему вы мне позвонили. Мадемуазель Понто ничего не знала о проверке...

— Вы говорили с Жаклин Понто?

— Я заходил в дирекцию, думал, вы там...

Кермер бледнеет. За пару секунд он потерял и свое преимущество, и контроль над ситуацией, и беспристрастность. Он молча слушает негодя, который советует ему позвонить в службу охраны: я-де опасный мифоман, возомнил себя им и преследую его, полиция уже однажды задержала меня, с него хватит, на этот раз он подает жалобу. Кермер поворачивается ко мне. Теперь в его глазах только злость: как я смел привлечь к нему внимание администрации, да еще зря?

— Вы довольны? — неприязненно фыркает он.

— Спросите, какие у него дипломы и ученые степени.

Тут самозванец впервые теряется. С трудом владея собой, он призывает Кермера в свидетели:

— Да сколько можно, мне осточертело предъявлять документы всякий раз, как я натякаюсь на этого психа! Где это будет в следующий раз? В супермаркете, на теннисном корте, у дантиста?

— Ответьте, Мартин, — советует Кермер, и у меня не остается иллюзий относительно его выбора.

— Master of Forestry² Йельского университета, — чеканит он, — с 1990 года заведующий лабораторией в Environmental Science Center³ по адресу: 21, Сэчем-стрит, там же, в Йеле; докторская диссертация о мутациях растений в процессе опыления; выезжал для научных изысканий в Австралию, Малайзию, Амазонию, Южную Африку; пятнадцать публикаций, в том числе исследование электрохимических сигналов как средства защиты от травоядных... Достаточно?

— Почему антилопы умирают от голода в заповедниках? — спрашивает Кермер, демонстрируя хваленую беспристрастность.

² Магистр лесоводства (англ.) .

³ Научный центр исследований окружающей среды (англ.) .

— Потому что растения, которыми они кормятся, предупреждают об опасности, выделяя газ, который делает флору токсичной в радиусе шести метров.

— Какой газ?

— Этилен. Если у антилоп недостаточно обширная территория, чтобы избежать этой цепной реакции, они скорее умрут от голода, чем отравятся!

— Ну? — повернувшись ко мне, бросает Кермер с высоты судейского положения.

Я пожимаю плечами. Да, я доказал это в пяти странах, а также обнаружил ответные действия некоторых представителей фауны: например, божья коровка, паразитирующая на тыквах в Мексике, каждый день принимается за лист, расположенный в шести с половиной метрах от ее предыдущей трапезы... Достаточно прочесть мои статьи, чтобы узнать это. Лучше, добавляю я, проэкзаменовать нас по еще не опубликованному открытию. И тотчас получаю вопрос: какие изменения аминокислот вызывают генетические мутации в функциональном ряду гена. Понятия не имею. Профессор спрашивает моего оппонента — тот тоже не знает и напоминает ему, что это скорее его, Кермера, епархия.

— В самом деле, извините. Как зовут моего племянника?

— Орельен.

Тут я сам, минуя посредника, спрашиваю самозванца, какая оса опыляет орхидею-молот.

— Горита. Точнее самец гориты.

Я ловлю его на ошибке, припечатываю ссылками на мои публикации. Нимало не смутившись, он снисходительно замечает Кермеру, что горита и тиннидея — две разновидности одной осы. Ошеломленный его наглостью, я опровергаю эту чушь, а он не остается в долгу, заявив, что я перевожу разговор на насекомых, чтобы скрыть недостаток познаний в ботанике.

— Хорошо, тогда назовите отличительную черту *асасия cornigera*!

— На этом растении селятся колонии муравьев, и его листья выделяют специальную кашу для их потомства, состоящую из протеинов и жиров, а муравьи за это защищают ее от всех паразитов и, в свою очередь, подкармливают личинками насекомых. А как я это доказал? — перебрасывает он вопрос мне.

— Я пометил личинки изотопами и таким образом мог наблюдать их поглощение тканями акации. Когда?

— В июне девяносто шестого. Как ползучие растения находят опору?

— Этого вы не можете знать. Я еще ничего не опубликовал, опыты не закончены...

— Вот и доказательство, что вы не в курсе моих нынешних экспериментов, — ухмыляется он.

— С чилийской бигнонией? На ее усиках имеются папиллы, которые выделяют...

— ...возможно, выделяют газообразные гормоны...

— ...рефлюкс которых может доносить до папилл информацию о местонахождении опоры.

— Какие последние лесные массивы в Малайзии еще не подверглись вырубке?

— Сунгай Уреу, Сунгай Бату, Улу Маго. Я вместе с местными кочевниками борюсь за сохранение их жизненного пространства. Что ответило мне правительство?

— Что им надо менять образ жизни, дабы впредь не зависеть от леса: таким образом им оказывают услугу.

Мы переводим дыхание, буравя друг друга глазами. Профессор и Мюриэль следили за нашим поединком, как зрители за теннисным матчем. Они молча переглядываются, будто советуются. Ужасно, но, не будь я кровно заинтересован, пришлось бы признать, что силы равны. Нет, Лиз не смогла бы так подковать своего любовника. Она ничего не смыслит в ботанике, ей это неинтересно — гипотеза о том, что она могла мне в наказание сотворить мое «альтер эго», как карточный домик, рассыпалась на глазах. Этот тип такой же настоящий я, как и я сам, он имеет то же образование и досконально знает все темы, которыми я занимаюсь. Я копил свои знания десятки лет, а он — как он мог за шесть дней возникнуть из

ниоткуда с готовым багажом? Остается предположить, что подмена планировалась заранее: допустим, «Монсанто», мощный агропродовольственный трест, таким образом ставит палки в колеса нам с Полем де Кермером, чтобы мы, чего доброго, не добились запрета на трансгенные продукты...

— Как родилась у вас страсть к растениям? — спрашивает Кермер, ни к кому из нас в отдельности не обращаясь.

Мы наперебой отвечаем, что родились в Орландо, штат Флорида, где папа был садовником в Диснейуорлде: мы выросли на гигантской игровой площадке, где природа была привлекательнее всех аттракционов.

— А чему он научил нас в первую очередь? — вдруг выпаливаю я и сам поражаюсь тому, что у меня вырвалось: я уже говорю о «нас», как будто мы близнецы.

Самозванец молчит, вперив в меня взгляд, будто хочет прочесть ответ в моих глазах.

— Любить ужей, — тихо произносит он наконец. — Чтобы растения дышали.

— Как это? — спрашивает Мюриэль.

Я сглатываю ком в горле. А он объясняет — теми самыми словами, которые употребил бы я, — что ужи питаются личинками комаров, позволяя таким образом меньше обрабатывать растения инсектицидами, затрудняя дыхание листьев. Я мысленно вижу, как папа впервые дает мне погладить змейку среди зарослей гибискуса и гигантских бамбуков «Полинезиан-отеля». Вижу, как он без устали выстригает Микки-Маусов из буксов, Белоснежек из кустов боярышника, Дональдов из бирючины. Как любит себя своим шедевром, заколдованной горой в «Фантазии»: по склону из плюща низвергается водопад незабудок, растекаясь по лужайкам Волшебного Королевства, — за эту композицию папа удостоился звания «лучший служащий месяца». Вижу, что было потом: как он похудел и махнул на себя рукой после ухода мамы, как начал пить и перестал бриться, за что в конце концов и вылетел из Диснейуорлда. Мы переехали в Бруклин, где нас приютила старенькая родственница в доме у самого океана. Год от года он все больше опускался, стал сторожем при «большой восьмерке» на Кони-Айленде... Я снова вижу стыд в его глазах, когда он сидел за столом напротив меня, я — за учебниками, он — за батареей пивных бутылок. Ему было стыдно не только за свой вид, но и за то, что я, как ему казалось, стеснялся его перед окружающими. Сколько я ни твердил ему — то в шутку, то всерьез, — что люблю его, что горжусь им каждый год, когда он выигрывает «Nathan's Hot Dog Eating Contest», он так мне и не поверил, а потом взял и умер, доев четырнадцатую сосиску на сотой минуте и побив посмертно собственный рекорд, — за три дня до того, как я получил письмо из Йельского университета о присуждении мне стипендии. То была его последняя мечта на этом свете... Воспоминания подкатывают к горлу, а самозванец между тем излагает их как по-писаному, выкладывает доказательства своей подлинности. Это чудовищно. Слышать историю своей жизни из уст постороннего. Такое ощущение, будто все, что я знаю, все, что чувствую, вытекло из меня, как вода, перелилось в другого человека — лучше меня, ярче, новее, к которому тянутся, — так переливают вино в графин, а на дне бутылки остается лишь мутный осадок.

Входит какая-то женщина с папкой в руках, спрашивает, в чем дело. Ей объясняют. Обо мне все забыли. Я чувствую себя опустошенным. Мое детство, моя работа, мои воспоминания... Он знает обо всем этом столько же, сколько я сам. Но у него есть паспорт, подтверждающий его слова. И его выбрала Лиз. Какой смысл спорить, пытаться убедить? У меня болит рука, болит голова. Нет сил бороться.

— Помогите мне, скорее! — слышу я крик Мюриэль.

Уплывая в сгущающийся туман, чувствую, как меня поднимают, куда-то несут.

— Может быть, вызвать врача?

— Не стоит, спасибо... Помогите мне только донести его до такси. Я отвезу его в больницу.

— В больницу?

— Я же говорил вам, Поль, что это психопат! Из тех чокнутых, что примеряют на себя

чужую жизнь: хотят во всем быть как вы, иметь вашу машину, вашу работу, вашу жену...

— Но все-таки, Мартин, он такое говорил...

— Я вообще не понимаю, как их выпускают!

— Мадемуазель Понто совершенно права: поди знай, что у больного на уме, бывают и буйные.

— Смотрите осторожней, месье Харрис! Всякое случается, даже в газетах писали: человек до такой степени завидует другому, что в один прекрасный день возьмет и убьет, чтобы занять его место...

Остальное теряется в тряске машины. Забыть. Вернуться в кому. Это все, чего я хочу. Хочу быть один. Быть настоящим. Быть собой.

В больнице все тот же дремотный покой и голый сад вокруг, ничего не изменилось с тех пор, как я ушел отсюда утром. Корпус стоит на отшибе, остальные, по большей части закрытые, сгруппированы поодаль в более современную — и менее человечную структуру. Мюриэль рассказывает, как в девяносто восьмом она провела все лето в этом саду, под окном палаты, где лежала ее дочь. В голосе такая печаль, будто она вспоминает любимый загородный дом, который пришлось продать. Я слушаю, киваю, молчу, притворяюсь нормальным, притворяюсь на все согласным: лечите меня, я готов.

Нейропсихиатра уже предупредили по телефону, он нас ждет. Я хотел сначала зайти в бухгалтерию — доказать, что платежеспособен, представить данные «Американ Экспресс», объяснить ситуацию. Регистраторша любезно ответила мне, что это не к спеху. Все уверены, что я здесь надолго. Это единственное решение моей проблемы. Мартин Харрис не может существовать в двух экземплярах. Он живет без меня, значит, мне остается одно — снова уснуть.

— Помните, что я вам говорила в машине, Мартин?

Я киваю. Она много чего говорила. Она убеждена, что настоящий — я; от того, другого, ей было очень не по себе: он казался роботом, он механически, без души повторял заученные слова, а в моих устах каждая фраза трогала ее до слез, но еще больше — мое молчание, когда тот отбарабанивал свой текст. Она уверена, что у меня еще не прошла реакция на противостолбнячную сыворотку; моя давешняя дурнота — пустяк, врач наверняка скажет то же самое, а потом, если я захочу, ее адрес у меня есть, она поставит лишний прибор к ужину и будет рада познакомить меня с детьми. Она говорила медленно, повторяя одни и те же слова все время, пока мы ехали по улицам. Она казалась искренней, но нужно-то ей было только, чтобы я покорно дал привезти себя сюда. В психушку. Прощаясь, она расцеловала меня в обе щеки.

— До вечера?

— Если все будет хорошо. Спасибо.

— Все будет хорошо. Доктору я доверяю: это замечательный человек. Он спас мою дочь.

Она поспешно ушла. И вот я стою один в приемном покое, провожая глазами разворачивающееся такси. Я больше не увижу ее. Я не выйду отсюда.

— Месье Харрис?

Чуть помедлив, я оборачиваюсь: «Да». Секретарша провожает меня до кабинета, где сидит благообразный старичок — это он блаженно улыбался мне, когда я вышел из комы. Я запомнил его приветствие — первые слова в моей второй жизни: «Ну-с... что новенького?»

— Рад вас видеть в добром здравии, месье Харрис.

Я вяло пожимаю протянутую руку. То ли он близорук, то ли шутит, то ли уже врет.

— Насчет небольшой дурноты — мадам Караде рассказала мне по телефону — не волнуйтесь: это классическая реакция в вашем состоянии. Вы пили алкоголь?

Я качаю головой.

— Воздержитесь сегодня до вечера, и завтра все пройдет.

Он изучает меня — молча, с застывшей улыбкой, точно художник, любующийся своим творением.

— Ну-с... О чем вы хотели бы со мной поговорить?

Я сижу, опустив глаза, и рассматриваю чернильное пятно на ковре.

— Вас что-то беспокоит? Я здесь именно для того, чтобы все выслушать, месье Харрис.

Его голос, угрюмо-теплый, наверно, должен располагать людей к откровенности: казалось, что ему, бедному, было так скучно одному. Послушав мое молчание секунд десять, он продолжает, словно отвечая мне:

— С другой стороны, вам было даже полезно столкнуться с внешней действительностью, хоть и немного преждевременно. Вы числитесь выписанным, но, пока ваш мозг не переработает избыток глутамата, советую дня два-три полежать спокойно дома.

— У меня больше нет дома.

Вздрыгнул ли он? Разве что едва заметно. Он поворачивается к зеленому кожаному бювару, на котором лежит мое досье — история болезни Харриса Мартина.

— То есть? Вы пришли к себе и не смогли... адаптироваться?

— Вот именно. Вы можете мне чем-нибудь помочь? — спрашиваю я, внезапно разозлившись.

— Провалы в памяти?

— Скорее наоборот — излишки. Чересчур много памяти на двоих.

Чем он любезнее, тем больше мне хочется ему грубить. Он передвигает на столе пресс-папье, откидывается назад.

— Я вас слушаю.

И я опять рассказываю мою историю. Но на сей раз по-другому: мол, да, я мифоман и сам это знаю. Я нарочно ёрничаю, как бы не могу простить, что он вернул меня к жизни в чужой шкуре.

Он уже не улыбается. Встает, обходит письменный стол и садится в кресло рядом со мной. Так сокращает дистанцию: забудем про врача и пациента, поговорим как мужчина с женщиной. Я стискиваю кулаки, удерживая в них незнакомую мне ярость.

— Такое бывает, месье Харрис.

— Что — «бывает»?

— Подобного рода патологии. Я буду с вами резок, — добавляет он еще безмятежнее. — Вы позволите?

Он сцепил пальцы перед носом, опираясь на левый подлокотник и неудобно вывернувшись, чтобы смотреть мне в лицо.

— Может быть, вы только *думаете*, что все помните. Амнезия, голубчик, не всегда означает потерю памяти. Это куда сложнее. Она может означать и нежелание связать разорванную нить.

— Какую такую нить?

Он сглатывает, поглаживает стальную браслетку часов.

— Кома — это загадочная *terra incognita*, о которой мы располагаем лишь теоретическими данными, приблизительными и схематичными. Если я вам скажу, что ваш показатель 4 из 11 по тесту Глазго, или назову цифру выявленного у вас потенциала, это ничего нам не даст теперь, когда вы уже выкарабкались. Мы ищем вслепую, ощупью, констатируем, классифицируем, но не знаем практически ничего. А если что-то и узнаем, то только слушая наших пациентов. Вы у меня примерно двухсотый — столько человек я вытащил... встретил, как мы говорим. И могу вам сказать, что имел дело, наверно, со всеми возможными случаями: спутанность сознания, прострация, буйство; рассказы о жизни после смерти со светом в конце туннеля и ангелами, подробный пересказ разговоров у постели пациента, который все слышал и запомнил, синдром Корсакова, стирающий тягостные воспоминания, поражения мозга, как обратимые, так и нет, потеря личности, полная или частичная, восстановление — быстрое или растягивающееся на годы...

Его взгляд туманится, он смотрит сквозь меня.

— Вот, например, один из самых интересных случаев, за полтора месяца до вас: к молодому человеку полностью вернулись умственные способности за одним исключением — начисто стерся социальный этикет. Если чей-то визит затягивался, он просил гостя уйти. Если от кого-то пахло потом — говорил об этом вслух. Некрасивому человеку указывал на его недостатки. В общем, что на уме, то и на языке, в его семье из-за этого разыгрались чудовищные драмы. И не было никакой возможности втолковать ему, что, живя в обществе, человек вынужден постоянно лгать. Он находил это нелепым, недопустимым, даже неприличным, как если бы ему предложили снимать штаны и мочиться на людях. То есть не только смылся культурный слой — пустоту заполнила логика.

— При чем здесь я?

— Этот молодой человек в прошлой жизни, до комы, сильно натерпелся от самоцензуры. Одинокое детство, религиозный пансион, интровертивный характер, подавленная гомосексуальность, предначертанная карьера дипломата...

— Я задал вам вопрос.

— Я рассказываю все это, чтобы дать вам представление о неизученных и, повторяю, *логичных* изменениях, которые могут происходить в сознании во время глубокой комы, когда мозг работает в полную силу — все больше ученых склонны в это верить, — просто он изолирован от привычных связей с внешним миром. Если взять ваш случай... Представим себе, например, что вы были безумно влюблены в некую женщину по имени Лиз. Вы домогались ее, преследовали, просто помешались на ней и, естественно, знали о ее жизни практически все. Но она замужем, счастлива в браке и сказала вам откровенно, что любит мужа, — иными словами, отвергла вас, не оставив никакой надежды. Более того, она вас недооценивает, преуменьшает ваши достоинства, постоянно ставя между собой и вами образ пресловутого мужа, рождающий у вас комплексы. Потому что муж этот вдобавок человек во всех отношениях успешный и внешне привлекательнее вас... Какой же будет недостижимая мечта вашей жизни? Быть им, занять его место, оказаться, как по волшебству, мужем этой любящей и любимой женщины. Между тем кома порой становится чем-то вроде лаборатории мечты: она делает возможным, реальным и осуществимым то, что в условиях нормальной работы мозга оставалось бы несбыточной химерой. Понимаете, о чем я? Все, что вы знали об этом человеке, все, что подозревали, чувствовали через сопереживание, выводили логически, экстраполировали, стало *правдой* — стало *вами*. Вы очнулись в убеждении, что вы — он. А ваше прежнее, нежелательное «я» подавлено, запрятано в темницу подсознания, уничтожено.

Слушая его, я переплел ноги да так и замер, остолбенев.

— Но постойте... Ведь у меня в голове не какие-то обрывочные сведения — полная память.

Он опускает веки, улыбается:

— Все правильно: это действие глутамата. Мозг, лишенный кислорода, высвобождает в больших количествах этот нейромедиатор, играющий ключевую роль в формировании воспоминаний: именно он способствует синаптической передаче... Отсюда ваша сегодняшняя иллюзия «полной памяти» человека, ставшего объектом вашего личностного переноса.

— Но ведь память нельзя выдумать! Какой там глутамат, я не вообразил себя этим человеком, я прожил его жизнь! Всю жизнь! С детством, учебой, работой, утратами, супружеством... С тысячей подробностей, одна другой характернее! Откуда, по-вашему, я мог все это знать?

Сделав глубокий вдох, он поднимается, идет к окну и отодвигает занавеску. Окно выходит на глухую стену.

— А вот тут, голубчик, мы с вами покидаем область рационального. Одно могу вам сказать: прецеденты есть, я сам с ними сталкивался, но это не тема для разговора в подобном месте. Я рассказываю это, так сказать, в частном порядке и предоставляю вам самому судить

о явлениях, которые официальная медицина упорно отрицает.

Повернувшись, он прислоняется спиной к книжному шкафу. Пробившийся сквозь тучи луч солнца скользит по паркету.

— Куда вы клоните, доктор?

— Скажем так: разум способен собирать воедино элементы созданного им же самим вымысла.

— Что-что?

— Наш мозг состоит из материи и энергии, это понятно? Из органических тканей и волн, которые взаимодействуют между собой и не обязательно в пределах одного мозга. Я пытаюсь вам объяснить, что...

— Что я как бы высосал на расстоянии память этого типа.

— Высосали? Нет, ведь вы мне сказали, что в воспоминаниях вы с ним на равных. Скорее отсканировали. Оригинал по-прежнему на месте, а дубликат у вас.

Я сглатываю, рассматривая солнечные блики, играющие на занавесках.

— Доктор, очнувшись, одну вещь я вам не сказал. У меня... Мне кажется, у меня было...

Он выжидает, предоставляя мне путаться в многоточиях, и наконец сам договаривает за меня:

— NDE, вы это имеете в виду?

Я скидываю на него глаза.

— Что это такое?

— По-английски Near Death Experience — околосмертный опыт. Вы отделились от собственного тела и видели его откуда-то сверху, вас затягивало в туннель мощным вихрем любви и счастья... А потом появилась светящаяся фигура, и вы поняли, что ваш час еще не настал и надо вернуться в свое тело.

Я смотрю на него в упор, судорожно вцепившись в подлокотники.

— Откуда вы знаете?

— Статистика. О подобном опыте рассказывали тридцать пять процентов моих больных. Это обычная галлюцинация химического происхождения, вызванная кислородным голоданием мозга и выбросом глутамата. Перенасыщение глутаматом рождает избыток синаптических связей: слишком много, образно говоря, дверей открывается на поверхности нейронов, по-научному эти двери называются NMDA-рецепторами. Результат — переизбыток кальция заполняет нейрон, что влечет его смерть. Таким образом, мозг должен срочно выработать субстанцию, блокирующую NMDA-рецепторы, — в данном случае кетамин, диссоциативный анестетик, от которого вам и кажется, будто вы расстаетесь с телом, парите в воздухе, видите фигуры и свет. Это совершенно естественно.

От его успокаивающей улыбки на меня наваливается обида пополам с разочарованием. Он отвинчивает колпачок ручки, хмуря брови, пробует перо на бюваре. А я снова вижу силуэт отца, парящий в белизне туннеля, и тот яркий свет, который почему-то совсем не слепил. Отец в своей блузе садовника, снова молодой, красивый, веселый, тихо говорил мне, не разжимая губ: *«Не бойся, Мартин, вернись в свое тело. У тебя будет вторая жизнь. Тебе решать, как ты ее проживешь»*.

— В результате, когда вы очнулись, стимулирующее действие глутамата на память оказалось усилено галлюциногенным эффектом кетамина, выключившим вас из действительности. Поэтому сценарий, созданный в коме, для вас реальнее противоречивой информации, которую вы можете получить теперь. Неудивительно, что вы не приемлете версию, которую предлагаю вам я.

— Но если в этот самый околосмертный опыт вы не верите, то почему же вы верите в телепатию, в какие-то волны, которые могут сканировать чужие мозги?

— Я и в них не верю. Но я хотел, чтобы вы рассказали мне о вашем околосмертном опыте. Облечь галлюцинацию в слова — это большой шаг вперед для первого сеанса.

Звонит телефон. Доктор отвечает, слушает, хмурится.

— Сейчас приду.

Он вешает трубку, с озабоченным видом просит его извинить: срочный вызов.

— А со мной-то что? Вы усыпите меня, прочистите мозги, и я проснусь прежним?

Он прячет ручку во внутренний карман, тут же спохватывается, снова ее достает, берет со стола стопку рецептурных бланков.

— Не думаю, чтобы искусственная токсическая кома могла что-нибудь изменить, — бормочет он, торопливо что-то строча. — Вы свободны сегодня вечером? Я хотел бы продолжить разговор. Мне есть что вам сказать, но не в этих стенах, здесь не позволяет врачебная этика.

Он зачеркивает шапку на бланке, отрывает его и протягивает мне.

— Это в сорока минутах езды от Парижа. Если хотите, возьмите с собой мадам Караде.

Я смотрю на адрес, складываю бумажку.

— Вы всех пациентов приглашаете за город?

— Сбирать опавшие листья — прекрасная терапия. А если серьезно, вы для меня загадка, месье Харрис. Когда мне встречается случай, не укладывающийся в привычную схему, я его анализирую и описываю.

Он кивает на нижнюю полку книжного шкафа, где в ряд стоят книги с его фамилией на корешке.

— За сорок лет работы я впервые вижу человека, вышедшего из комы с такой... ясностью мысли, с таким самообладанием... с такой свежей головой, если можно так выразиться. Объяснение, которое предложил вам я, — всего лишь рабочая гипотеза. Но если вы обдумаете ее спокойно, не горячась, и вычлените долю фантазма в вашей нынешней личности — как вы ее воспринимаете, в свете ваших чувств к этому «альтер эго», с которым трижды за сегодняшний день встречались лицом к лицу, — быть может, тогда вам удастся пробудить в себе *другой голос*. Тот, который вы не хотите слышать.

— Доктор... Если конкретно — я сумасшедший?

Он смотрит на меня с едва уловимой улыбкой.

— Я сказал — до вечера. Наденьте сапоги, там сыро.

И он уходит, а меня почему-то не просит покинуть кабинет. Возможно, хочет показать, что доверяет мне. А может, специально оставил одного со своими книгами, чтобы я познакомился с ними поближе. Я беру одну с полки, переворачиваю, пробегаю глазами аннотацию, выдержки из прессы над его фотографией. Д-р Жером Фарж, «Кем я должен быть?» Подзаголовок: «Нейрофизиологические характеристики ядра сознания в посткоматозных личностных изменениях». Выглядит серьезно, но почему же ни одно его слово не отозвалось во мне? Я чувствую себя Мартином Харрисом — всеми фибрами, всеми силами, даже еще острее, с тех пор как говорю себе, что я — не он. Рассказывая доктору свою историю, я честно пытался допустить, что правы те, кто меня отрицает, а не я сам. Нет, не получается. Моя внутренняя убежденность сильнее... или моя, как он выразился, «лаборатория мечты». Я улыбаюсь, представив себе, как мои мозговые волны клонируют мозг мужа Лиз. Но, согласен я или нет с теорией, в которую доктор Фарж сам, по его словам, не очень верит, я слишком долго изучал телепатию у растений, чтобы вовсе не принимать ее в расчет. Нужно просто поменять местами причину и следствие: предположим, я, будучи в коме, каким-то образом передал — и я начинаю понимать почему, — содержимое моей памяти любовнику Элизабет. Да, мне было с ней тяжело с тех пор, как у нее началась эта депрессия, и я, что греха таить, все чаще заглядывался на других женщин, но не хотел от нее уходить, хотя прежняя Лиз исчезла безвозвратно. Да, я согласился на эту работу во Франции, чтобы увести ее из Гринвича, из этого болота, где она в последнее время не желала никого видеть, — и, главное, чтобы самому вырваться из замкнутого круга, глотнуть свободы. Да, мне вот уже несколько месяцев снился один и тот же сон: я как бы раздваивался, я видел себя дома, с Лиз, и одновременно находился где-то еще, я был волен любить других женщин, я мог уйти от нее, не уходя... Нет, это чушь. Спроси меня кто-нибудь, чего я хочу, на самом деле хочу сейчас, с сегодняшнего утра, я скажу: занять свое место, изгнать обосновавшегося

там чужака. Пусть у нас с Лиз не все шло гладко, я еще слишком много должен сделать в своей жизни, чтобы вот так, за здорово живешь, уступить ее самозванцу. Который, похоже, держится за мою личность так же крепко...

Есть, конечно, другое объяснение — его сформулировал мой коллега из НИАИ. Кому может быть выгодно опорочить мое имя, затормозить мои исследования, изолировать меня? Кому, как не корпорациям, торгующим трансгенными продуктами, на интересы которых я посягаю, участвуя в работе Кермера? Что и говорить, ставка колоссальна, но они же не самоубийцы: сфабриковать моего двойника с фальшивыми документами, даже заручившись пособничеством моей жены, — допустим, ее подкупили, — это сработает на пару дней, не больше... если только я не исчезну. Впрочем, кто поручится, что моя авария не была попыткой убийства? А может, меня просто хотят свести с ума, столкнув с абсурдом. Возможно, так и задумано — чтобы я бился головой о стену, пока не спячу, не разобьюсь, как ночной мотылек об освещенное стекло. Чтобы я лишился своей среды, чтобы своим поведением настроил против себя Кермера, который предпочтет — наверняка уже предпочел — самозванца, а тот будет водить его за нос, подсовывать ложные выводы, чем в два счета дискредитирует в свою очередь и его.

Но тут есть одна загвоздка. Я готов допустить, что у «Монсанта» или кого-то другого были и причины, и достаточные средства, чтобы начинить моей жизнью чужую голову, но откуда они знали обо мне столько личных подробностей? Папины ужи, конкурс хот-догов... Есть вещи, о которых я никому не говорил, даже Лиз. Неужели каждый наш шаг фиксируется с самого детства? А в чьем ведении находится картотека со всеми этими данными?

Я хватаюсь за книжную полку, похолодев от внезапно пришедшей мысли. А вдруг психиатр прав? Вдруг ненастоящий, запрограммированный двойник — я? Я должен был выдать себя за Мартина Харриса, но после комы забыл, кто я на самом деле? Я оглядываюсь в поисках зеркала, дрожащими руками открываю стенной шкаф и смотрю на свое отражение в полный рост. Это не может быть правдой, я точно знаю, но уже оттого, что я допустил такую возможность, что-то во мне изменилось. Когда от тебя все отказываются, это не проходит даром. Когда тебя отрицают, сомневаются в твоём существовании и подозревают невесть в чем, это ожесточает, пробуждает в тебе ненависть, злобу волка-одиночки. Я исчерпал все средства убеждения: искренность, доводы разума, компетентность, чувствительные струнки — остается только сила. Я вынужден защищаться — и доберусь до того, кто занял мое место. Я хочу его смерти. Я это чувствую. Та женщина из НИАИ попала в точку: единственный логичный выход из нашей ситуации — устранить лишнего. Не знаю, до каких кровавых замыслов дошел со своей стороны он, но, если бы сейчас я увидел его здесь, перед собой в зеркале — убил бы.

Я закрываю шкаф, сую книгу в карман, нащупываю там двадцатиевровую бумажку. Мне опротивела эта мягкая одежда, пахнущая тинной и больницей. Мне надо переодеться, но денег не хватит и на носки. Я оглядываюсь в поисках чего-нибудь ценного. Ничего не вижу, кроме статуэтки Дианы-охотницы, натянувшей тетиву бронзового лука, — я плохо представляю, как выйду с ней из кабинета. Я осторожно отрываю десяток рецептурных бланков — стопка так и осталась на столе, — и прячу их во внутренний карман.

Два санитаря о чем-то беседуют в коридоре и кивают мне, когда я прохожу мимо. Я приветливо улыбаюсь в ответ. Все-таки с их стороны немного легкомысленно позволять разгуливать на свободе такому, как я.

Я лишился всего, кроме памяти. Он украл мою жену, мою работу и мое имя. Никто, кроме меня, не знает, что он — не я, но я живое тому доказательство. Вот только надолго ли? Моя жизнь в опасности, месье. И на вас моя последняя надежда.

Открывается дверь, секретарша провожает клиента. Мысленно повторив заготовленные

фразы, я встаю. Девушка возвращается в приемную, жестом приглашает меня к двери и закрывает ее за мной.

Я ожидал увидеть юркого человечка в пиджаке в шашечку и с косящим взглядом или потного толстяка с залитыми бурбоном глазами — таковы стереотипы профессии. А он оказался долговязым, лысым, в черной тенниске, тяжелых башмаках и с пирсингом.

— Адюльтерами не занимаюсь, — предупреждает с порога. — Только сбор информации по коммерческим, промышленным и наследственным делам и проверка сведений личного характера.

Спешу заверить, что именно за этим я сюда и явился. Он указывает мне на стул напротив своего стола. Я добавляю, что впервые обращаюсь к частному сыщику.

— Детективу, — поправляет он. — Так что вас интересует?

— Я.

На языке уже вертится крик о помощи, который я заготовил, сидя в приемной, но его непроницаемый вид и холодноватый взгляд склоняют к сухому изложению фактов.

— Я американский гражданин, потерял документы, и кто-то пытается, воспользовавшись этим, присвоить мое имя. В вашем объявлении написано, что у вас есть информаторы в США.

— Да, корреспонденты.

— Мне необходимо доказать, что я — это я, и как можно скорее, чтобы разоблачить самозванца, который выдает себя за меня.

— Вы знаете мои расценки?

— Нет. Это не имеет значения.

— Изложите обстоятельства.

Я в очередной раз повторяю свою историю с неприятным чувством, будто рассказываю о ком-то постороннем, будто все это случилось не со мной.

— Почему вы не хотите обратиться в ваше консульство?

— Я только что оттуда.

— Ну и?

Я вкратце подвожу итог моего демарша: никакой возможности немедленно получить ни дубликат паспорта, ни карточку гражданского состояния, ни копии отпечатков пальцев, ни даже подтверждение личности по номеру социального страхования. Я настаивал, требовал, заполнил два десятка бланков, прождал три часа, в конце концов меня принял какой-то тип без пиджака и стал уверять, что все в порядке: мои запросы переданы в соответствующие инстанции, просто надо подождать, есть установленные сроки для рассмотрения такого рода дел. Когда я поинтересовался, каковы установленные сроки, он ответил неопределенно. Сейчас у нас конец октября — я не обольщался. Прощаясь, он тепло пожал мне руку, пожелал удачи и напутствовал словами «В случае чего звоните».

Я вышел от него приободренный, но, не дойдя и до середины лестницы, сообразил, что ухожу несолоно хлебавши: он даже не назвал мне свою фамилию.

— Чего конкретно вы хотите от меня? — спрашивает детектив, теребя бриллиантик в ноздре. — Чтобы я раздобыл вам документы, подтверждающие личность, быстрее, чем это сделают американские власти? Не хочется обнадеживать вас попусту, месье Харрис. Мои услуги стоят дорого, но все же...

— Нет, я думал, вы могли бы направить ваших корреспондентов ко мне в Гринвич, в кампус... Опросить соседей, коллег, показать мою фотографию, зафиксировать их свидетельства и переслать мне...

— Для предъявления кому?

Его тон меня раздражает: как на допросе. Объясняю: я жертва заговора межнациональной корпорации, задавшей целью дискредитировать меня в связи с борьбой против трансгенов. Лицо его вдруг оживает, глаза из-под вскинутых век смотрят с новым интересом.

— «Монсанто»?

— Или его конкуренты.

— В таком случае вы пришли по адресу: я сотрудничаю с лучшей адвокатской конторой в Филадельфии, специализирующейся на процессах против промышленных лобби. Я предоставил им решающие улики в деле Вивенди...

— Нет, спасибо, мне нужно только доказать, что я — это я, и все. Я приготовил список лиц и учреждений, с которыми следует связаться.

Он спрашивает, почему я не займусь этим сам.

— У меня здесь нет ни компьютера, ни телефона, ни карты «Американ Экспресс». Я заблокировал утерянную, но, пока не получу новую...

Я тотчас пожалел о последних словах: мое неосторожное признание в неплатежеспособности наверняка поубавит его энтузиазм. Но он уже читает имена, адреса, биографические данные и улыбается все шире. Очевидно, надеется извлечь из моего дела выгоду, сильно превышающую накладные расходы.

— Вам действительно удалось добиться обвинительного приговора в суде на основании свидетельства растений?

В его голосе звучит уважение. Я киваю.

— Понятно, почему лоббисты трансгенов хотят вас устранить, — бормочет он себе под нос, поднимаясь. — Я сейчас вернусь.

Он выходит, унося два листка, на которых уместилась вся моя жизнь. Когда я переносил на бумагу извлеченные из памяти подробности, меня охватила нервозность, как бывает при сборе чемоданов: тот же страх забыть что-то важное. Все факты, все значительные события моей жизни вспоминались легко, но отчего-то требовалось усилие, чтобы мысленно воссоздать образы, связанные с людьми и местами, о которых я думал. Отец в садах Диснейворлда, мать в костюме таитянки, разносящая завтраки в аллеях «Полинезиан-отеля», вручение диплома в Йельском университете, вечеринка на юридическом факультете, где я встретил Лиз, наша свадьба без родственников, единственными гостями на которой были коллеги, мои первые открытия в области языка растений... Я пытался сосредоточиться, и что-то странное происходило в моем мозгу: казалось, будто частицы меня, отрываясь, уходят в прошлое, чтобы воспроизвести воспоминание, сложить картинку, — всякий раз возникало чувство ломки, раздвоенности, распада... Нечто подобное могло бы ощущать дерево, роняющее листья, цветок, рассыпающий пыльцу... Такого со мной никогда не было. Я из тех, кто выстраивает всю свою жизнь на одной ноте, — моей была ярость, рожденная унижениями детства. Чувство обиды и отринутости с годами преобразилось в гордыню: я не такой, как все, я один на свете и могу рассчитывать только на себя. Я всегда был собран, последователен, неуязвим. Откуда же это ощущение, будто я отсекаю часть себя с каждым воспоминанием, записанным на бумаге? Наверно, тоже побочный эффект комы — сколько же их?

Но была еще одна, гораздо более странная вещь: наслоение. Когда я писал дату и место своей женитьбы, другая, невесть откуда взявшаяся картинка наложилась на ту сцену, размыв антураж гринвичского «Кантри-клуба». Я и Лиз на Манхэттене, точно на углу 42-й улицы и Шестой авеню, там, где гигантский экран напрямую транслирует сумму государственного долга и его долю, приходящуюся на каждую американскую семью. Я обнимаю Лиз, но при этом вижу себя сзади и сверху — так же было, когда я парил над собственным телом в коме. А над нами бегут электронные цифры, они становятся все ярче, все четче: шестьдесят два миллиарда четыреста семьдесят миллионов семьсот тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать...

— Вы действительно хотите, чтобы я проверил по всем пунктам? Мне кажется, подтверждения в вашем университете было бы более чем достаточно...

Это лысый детектив вернулся в кабинет и кладет передо мной на стол ксерокопию моей жизни.

— Да, по всем пунктам. Обязательно по всем. Чтобы было доказано, что это *мое* детство, *моя* карьера, *моя* жена! Тот человек присвоил мою жизнь — всю целиком, и я

хочу изобличить его по каждому пункту!

Он услужливо кивает. Надо же, как быстро перестаешь быть никем, стоит только поманить кого-то возможностью поживы.

— Мне надо позвонить. В Париж.

— Пожалуйста. Оставить вас одного?

— Это ни к чему.

Он протягивает мне трубку, а сам выдвигает ящичек картотеки. Я звоню Мюриэль, сообщаю ей, что у меня все в порядке и что доктор Фарж приглашает нас сегодня вечером к себе в Рамбуйе. После трехсекундной паузы она отвечает, что рада за меня, но поехать не сможет, ей надо засадить сына за уроки, а поужинать у них я могу в любой другой вечер. Голос у нее какой-то слишком нейтральный, бесцветный. Ни с того ни с сего она спрашивает, уверен ли я, что мне лучше. Сдерживая подступающее раздражение, я отвечаю, что очень скоро она получит однозначное подтверждение моей личности.

— Завтра, к полудню, — уточняет детектив.

Я смотрю на него: вот это да! Он напоминает, что время — деньги, как его, так и мои.

— Сразу по получении мейла мой корреспондент ответил, что один его сотрудник отправился в Йельский университет, а другой в Гринвич. Если хотите, я напишу, чтобы он послал еще двоих — в Орландо и Бруклин. Не двигайтесь.

Он щелкает цифровым фотоаппаратом, показывает мне снимок на экране компьютера. В трубке я слышу мужской голос, называющий Мюриэль адрес. Я прощаюсь с ней, вешаю трубку и спрашиваю детектива, долго ли его не было в кабинете.

— Минуты четыре, наверное, может, пять... Я постарался сделать все как можно скорее.

Опять эта странная растяжимость времени, когда я обращаюсь к своей памяти: кажется, я секунд на десять погрузился в прошлое, а отсутствовал, оказывается, несколько минут.

— Я посылаю ваше фото. Как мне с вами связаться?

— Я сам вам позвоню. Да, вот еще что: я хотел бы узнать, в какой точно день сумма государственного долга США составляла шестьдесят два миллиарда четыреста семьдесят миллионов семьсот тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать долларов.

Он записывает в блокнот. Чем хороши частные детективы — они ничему не удивляются.

— Еще вопросы, месье Харрис?

— Нет.

— Тогда у меня один вопрос: о вашей матери. Вы не указали ее адреса.

— Последний раз я видел ее в тринадцать лет. Я так и не смог простить, что она бросила отца.

Детектив выдерживает вежливую паузу — нечто среднее между тактом и равнодушием.

— Но разыщите ее, если сможете, — есть повод. Спросите в Диснейурлде: она работала горничной в «Полинезиан-отеле» до 5 августа 1975 года, когда уехала с немецким банкиром. Кроссман Понтер, из номера 3124.

Он записывает, улыбаясь уголком рта.

— Ну и память у вас...

— Спасибо, — благодарю я, поднимаясь. — До завтра.

Стоя между двух зеркал в лифте, я пытаюсь забыть эту холодную злость, эту ярость, до сих пор живущую во мне, не изменившуюся с того самого первого дня без нее, эту тупую боль всякий раз, когда она звонила мне, и оправдывалась, и винула отца в своей внезапно вспыхнувшей страсти к номеру 3124, а в конечном счете корнем всех зол оказывался я. Этот вдовец из Бундесбанка, твердила она, был величайшей удачей в ее жизни. Подразумевалось, что он компенсировал неудачу, воплощенную во мне: случайный залет от парня на один вечер, который мог бы и предохраниться. Не помогли ни русские горки, ни abortивные снадобья — я оказался живучим, тем хуже для меня, она терпела нас с папой тринадцать лет;

я вырос, с нее хватит, она свободна. Теперь от меня отреклась жена — так же запросто, как когда-то мать, — вот что самое невыносимое.

Я уже стою на тротуаре, не зная, что делать с глухим бешенством, с силой в сжатых кулаках, стою, а люди обходят меня. Я твержу себе, что скоро все разъяснится, что информаторы удостоверят мою личность через несколько часов... но тщетно: я не могу снова стать самим собой. Почувствовать себя прежним. Кто-то другой проклянулся во мне за этот день; этот кто-то — самозванец, которым меня считают, и это дает мне парадоксальную свободу, которая все больше меня тяготит, потому что я не властен над тем, что со мной происходит. Так тело пугается полового созревания: сила парализует, пока не решишься ею воспользоваться, признать ее своей, дать ей выход.

Я иду по Севастопольскому бульвару под деревьями, чахнувшими из-за запрета на парковку. Останавливаюсь у обреченного платана, помеченного желтым крестом. Это все соль, которой каждую зиму посыпают асфальт. А без защитного барьера из стоящих вдоль тротуара машин кислота выхлопных газов разъедает стволы куда быстрее, чем собачья моча. Я обнимаю платан, чтобы поделиться с ним силой и взять силу от него, таким взаимным обменом был отмечен каждый мой день... Нет, ничего. Я ничего не чувствую. Ни вибрации сока в жилах, ни тепла под ложечкой, ни подобия электрического разряда, пробегающего по телу от ладони к ладони... Я повторяю попытку с его соседом, потом толкаю калитку сквера, там обнимаю молодую, здоровую липу, столетний каштан... Никакого отклика, ни малейшего. Деревья перестали меня узнавать. Или это моя нервозность отталкивает их, создает преграду, мешает нашему общению? Мне необходимо снять это напряжение во что бы то ни стало.

Я пересекаю бульвар, сворачиваю в переулок, выходящий на площадь Форум, к Центральному рынку⁴. Днем, когда я вышел из метро, на площади играли дети, приплясывали на месте от холода их родители, молодые парни выделяли фигуры брейк-данса среди опавшей листвы. Сейчас шесть вечера, уже стемнело. Семейные разошлись по домам, ушли и подростки со своей музыкой. Тускло светят фонари между деревьями и кустами, не прячась, зазывают клиентов дилеры, показывают товар, дают попробовать, торгуются, пересчитывают деньги.

Я выбираю тихий уголок между двумя купами форситии и, прислонившись к рекламному щиту, жду.

Крошечный кабриолет припаркован во втором ряду у железнодорожной станции Рамбуйе. На крыле, скрестив на груди руки, мокнет под дождем доктор Фарж. Когда я подхожу, он говорит: «Какой вы элегантный». Надо думать: костюм обошелся в шесть его рецептов. Он пожимает мне руку, продолжая говорить: все, что может понадобиться за городом, он мне одолжит. Я сгибаюсь в три погибели, чтобы сесть в его машинку. Никакой неловкости перед ним я не испытываю, ни малейших уколов совести. Как будто тот факт, что мне отказано в праве быть собой, упраздняет все барьеры, все ценности, все правила, которые навязывает человеку общество, загоняя его в рамки социальной роли. Я больше не знаю ни рамок, ни ориентиров, для меня закон не писан. Потому что меня не признают. В упор не видят.

В какой-то момент, приторговывая рецептами на площади Форум, я поймал себя на мысли, что пора перестать существовать, надо начинать жить. Это были не мои слова. Они прозвучали у меня в голове, и этот голос был мне знаком.

⁴ Центральный рынок, знаменитое «чрево Парижа», исторически располагавшийся на площади Форум, был снесен в конце 60-х годов XX века. На его месте построен современный торговый комплекс, однако название сохранилось до сих пор.

— Вы не находите, что я изменился за сегодняшний день?

Он заканчивает разговор, притормаживает и внимательно смотрит на меня.

— А вы изменились?

Я забыл, что психиатры любят отвечать вопросом на вопрос. Вместо ответа машу рукой на ветровое стекло: можно ехать. Он так рвет с места, что меня вжимает в сиденье.

— Это «хонда-родстер», — поясняет он. — Единственное баловство, которое я себе позволяю.

На каждой колдобине я стучаюсь головой о крышу. Он не сбавляет скорость на поворотах, гонит на ста двадцати по разбитому шоссе. Меня прижимает то к дверце, то к его боку, и кажется, будто я качу по асфальту на собственных ягодицах. Все же не стоит опрометчиво судить о людях. Я-то представлял его в «вольво-универсале» с подушками безопасности и тихой музыкой. А он, со своей стороны, наверняка считает меня бедным, но честным дурачком.

— О чем вы думаете? — спрашивает он через некоторое время, когда мы уже выезжаем из города.

Я сгоняю с лица улыбку. Я думал о моем последнем покупателе, из чернокожих на роликах, который имел наглость еще и внушение мне сделать. Я ему ответил, что так или иначе, с рецептом или без, зелье он все равно раздобудет. Если на то пошло, я, может стать, спас жизнь какому-нибудь аптекарю. Он заржал, крутанувшись на роликах, хлопнул меня по плечу и сказал, что я классный. Без ложной скромности, я умею выживать в джунглях, иначе не вернулся бы невредимым из дебрей Амазонки.

— Если вам неприятны мои вопросы, скажите.

— Все нормально.

Деревья едва различимы в свете фар. Доктор включает вентиляцию, ветерок холодит мне лицо, а стекла запотевают окончательно.

— Вы поранились?

— Просто ударился.

Я опускаю козырек, чтобы в зеркальце рассмотреть повреждения. Царапина на скуле да небольшой синяк. Мотоцикл сшиб меня, когда я выходил из Форума с покупками. Я упал, пассажир в шлеме бросился было на меня, но пронзительный свисток остановил его. Двоих на мотоцикле тут же и след простыл. Я поблагодарил невесть откуда взявшихся полицейских, а они посоветовали мне не разгуливать затемно в этом квартале с пакетами из бутика «Генданс Д».

— Ну-с, что новенького с нашей последней встречи? — весело спрашивает доктор, протирая стекло рукой.

Я обхожу молчанием мои коммерческие операции в сквере у Центрального рынка, равно как и шоппинг на третьем подземном этаже Форума. Я шел вдоль витрин в поисках костюма, к каким привык — на все случаи жизни и чтобы не мялся, — и вдруг застыл как вкопанный перед «Генданс Д». Молоденькая продавщица оформляла витрину. Брюнетка с длинными волосами, маленькая, фигуристая, с упругими грудками, натянувшими шелк блузки, одевала манекен. Она делала это так, что зрелище было куда сексуальнее стриптиза. Поймав мой взгляд, девушка улыбнулась. Коридор был пуст, только уборщики шаркали по полу швабрами, да лязгали, опускаясь одна за другой, железные шторы. Я вошел.

— У вас закрыто?

— Смотря для кого.

Она застегнула рубашку на пластмассовом манекене, заправила ее в брюки и прыгнула на пол. Между двух летучих мышек на фирменной блузке, завязанной узлом выше пупка, отчетливо выступали соски.

— Что вам предложить?

Она смотрела на мой старый синий пиджак в елочку, севший после купания в Сене. Я кивнул.

— Вы носите пятьдесят шестой, не меньше.

Это прозвучало как комплимент. Перебирая вешалки на стойке, она добавила, что здесь вещи не совсем моего стиля. Я ответил, что своего стиля у меня больше нет, пусть подберет на свое усмотрение. Девушка тут же протянула мне оранжевую тенниску и вампирский сюртук, проворковав теплым голосом:

— Примерьте-ка вот это.

Она отдернула занавеску примерочной кабины, и я разделся, не задвинув ее. Желание сжимало горло. Мне было просто необходимо привлечь незнакомые глаза, чтобы они смотрели на мое тело, не задаваясь вопросом, кто в нем живет. Больничный душок кисловатой и химической чистоты вьелся в мою кожу; мне хотелось заглушить его запахами пота и спермы, потопить измену Лиз в теле другой женщины. И это желание было для меня вполне естественным. Не фантазм, нет — реабилитация: так наводят уют в заброшенном помещении, чтобы снова сделать его жилым.

Голый по пояс, в зеркале примерочной я был похож на самого себя — лесной житель, переодетый в горожанина, отмытый, побритый, причесанный, цивилизованный и пастеризованный; лесоруб в мегаполисе. Так выглядит тренер по лыжам без снега: невзрачный, неинтересный, бесцветный вне своей стихии. Но девушка украдкой поглядывала на меня, пока я, играя мускулами, натягивал тенниску. Я видел, что нравлюсь ей. Даже если ее единственной целью было что-то продать.

— Вам лучше подойдет что-нибудь в этом роде, — заключила она и принесла костюм — тот, что сейчас на мне.

Все так же, под ее взглядом, я надел брюки в обтяжку, рубашку без ворота и двубортный пиджак. Сверху пастор, снизу эфеб. Скрестив руки на груди, девушка смотрела на мою восставшую плоть, оттопырившую брюки, и кивала: размер ваш.

— Можете сразу подшить брюки?

Она присела на корточки, чтобы вколоть булавки.

— Он двухлитровый, но это дизель, степень сжатия двадцать один...

Видимо, он о своем двигателе. Я киваю, отгоняя воспоминание о губах продавщицы.

— А вы? На чем вы ездите в Штатах?

— У меня «форд».

— Какой литраж?

— Не знаю. С большим багажником.

Пауза. Доктор притормаживает и останавливается у ржавой ограды. Взявшись за ручку дверцы, интересуется:

— В шахматы играете?

— Нет.

Он выходит, открывает скрипучие ворота и, снова сев за руль, говорит, что прогноз обещает на завтра прояснение. Спрашивает, что я об этом думаю. Я отвечаю: ну раз обещают... Он говорит, что после клинической смерти люди часто становятся ясновидцами. Я качаю головой: не мой случай.

Доехав до конца аллеи, он паркуется на засыпанной гравием площадке. Дом — развалюха с соломенной крышей — втиснут между купой рододендронов и большой поваленной магнолией.

— Ураган на Рождество девяносто девятого, — с грустью поясняет он. — Я не позволил ее срубить: она все еще цветет. И даже активнее прежнего... Обрубщик уверял, что она погибла, но сами видите: выжила. В том, что не касается моей профессии, я не признаю авторитетов.

Я соглашаюсь, чтобы не омрачать вечер. Деревья всегда особенно буйно цветут перед смертью: обеспечивают продолжение рода.

— У вас прекрасная профессия, Мартин. Скажите, вы действительно умеете разговаривать с деревьями? Они вам отвечают?

— Еще как.

— А каким образом?

— По-разному, зависит от вида.

— Завидую вам. Представители человеческой породы так однообразны.

— Я могу помолчать.

— Я не о вас. Входите, дверь открыта, там моя домработница. Я сейчас, только наберу дров.

Я открываю застекленную, с мелким переплетом дверь, вдыхаю запахи тушеного мяса и натертого пола. Жестокая тоска внезапно наваливается на меня в этом холостяцком жилище: здесь в сотню раз теплее, чем в нашем гринвичском доме, где не пахнет ни стряпней, ни хозяйством, а всегда стоит искусственный дух от ароматических смесей в вазочках. Кухня — прибранная, украшенная полезными вещицами, все здесь не новое, но живое. Где-то выключается пылесос, входит пожилая женщина, здоровается со мной и показывает корзину с тапочками. Я следую за ней в гостиную с низко нависающими балками, где она усаживает меня на продавленный диванчик между накрытым скатертью пианино и камином, в котором над скомканными газетами сложены шалашиком щепки.

— Минеральной воды или соку?

Я невольно улыбаюсь. Ну еще бы, здесь гостям не позволяют смешивать антидепрессанты с алкоголем.

— В холодильнике есть шампанское, — сообщает доктор, входя с корзиной дров. — Спасибо, Бернадетта.

Бернадетта что-то неодобрительно ворчит и уходит в кухню.

— Это она не вам, дело в моей язве. Хотите посмотреть вашу комнату?

Я вообще-то ночевать не собирался, о чем ему и сообщаю.

— Вас кто-то ждет?

Я смотрю, как он разжигает огонь, и не спешу ответить. Он кашляет от дыма, приоткрывает окно.

— Расслабьтесь, Мартин.

Я с недоверием поглядываю на доктора, уже облачившегося в домашнюю шерстяную рубаху и холщовые брюки. Не верю я в бескорыстие: люди помогают только тем, от кого им что-то нужно. Я полистал в поезде его книгу «Кем я должен быть». Он хочет разобраться в моем случае как ученый, извлечь пользу для своей диссертации. Он пригласил меня только для того, чтобы проиллюстрировать очередную книгу, в которой я буду обозначен инициалом. И тут мне отказано в праве быть собой.

— Ладно, я уйду. — Бернадетта, стоя в дверях кухни, снимает передник. — Следите, чтобы жаркое не подгорело: я поставила духовку на «два». Да не забудьте достать сыр и перемешать салат.

Две минуты спустя тархтенье мопеда заглушает треск дров в камине. Доктор Фарж осторожно укладывает на подставку дубовое полено, поправляет решетку и уходит в кухню. Я слышу, как хлопает дверца холодильника, звякают бокалы, сыплются в тарелку орешки. Большая черная собака бесшумно входит в комнату и, наступив лапой мне на ногу, испытующе смотрит в глаза. Я говорю «Привет», псина не двигается. Протягиваю руку, чтобы ее погладить, — она пятится и ложится у пианино, не сводя с меня глаз.

— Его зовут Трой, это босерон, — говорит доктор, входя с подносом.

— Очень славный.

— Никогда не лает — бросается и вцепляется в горло. Не вполне в моем духе, но это подарок Бернадетты. Последний из помета. Отказаться было неудобно... Теперь воры обходят мой дом стороной. Почтальон тоже.

Он наклоняет бутылку, открывает ее, вращая горлышко вокруг пробки. С маниакальной точностью наполняет два бокала, следя за оседающей пеной и доливая до одинакового уровня. Потом садится на диван напротив меня, расслабленно откидывается на бархатные подушки, осушает свой бокал и наклоняется вперед, опершись локтями о колени.

— Ну что ж. Теперь, вне стен больницы, я могу в частном порядке сказать вам все, о чем умолчал. Конечно, если вы этого хотите.

Я выражаю согласие неопределенным жестом.

— Что-то в вас изменилось за сегодняшний день? Я хочу сказать: вы действительно по-прежнему считаете себя Мартином Харрисом?

— Да. И глютамат здесь совершенно ни при чем.

— У вас появились новые доказательства?

— Скоро будут.

Над домом пролетает самолет — так низко, что комната наполняется пронзительным свистом реактивного двигателя. Доктор ждет, поджав губы, пока вновь воцарится тишина, и смотрит на часы.

— У вас сейчас пятнадцать тридцать. Если хотите кому-нибудь позвонить, прошу вас, не стесняйтесь.

— Я обратился к детективу, который свяжется с моим окружением.

Он только руками разводит: воля ваша. Я-то думал, он будет настаивать. Лица, имена, телефонные номера проносятся в моей голове. Мой ассистент Родни, декан моего факультета, миссис Фоулетт, которая убирается в доме, Брауны, вечно зазывающие нас поужинать... Нет, мне не хочется звонить знакомым. Сам не знаю, чего тут больше — неловкости или страха. Конечно, мне претит обращаться за помощью к карьеристу, метящему на мое жалованье, к старому резонеру, который давит на меня, уговаривая не втягивать университет в борьбу против трансгенов, к несговорчивой бабенке, которая распоряжается как у себя дома — только потому, что она одна умеет обращаться с сигнализацией, или к соседям, которых я вечно умоляю не подрезать столетнюю катальпу в их саду. Все так, но есть и кое-что другое: боязнь нарваться на такую же реакцию, как у Лиз. Ничего подобного случиться не может, я точно знаю, но это сильнее меня. И как бы то ни было, по телефону мой голос легко перепутать с голосом самозванца: если меня и узнают, это не доказательство. Нет, лучше пусть детективы покажут мое фото.

Над нами опять пролетает самолет, завывая еще оглушительнее первого. Жером Фарж резким движением протягивает руку к пульту дистанционного управления, тычет им куда-то в сторону лестницы. Комнату наполняет голос оперного певца — вокализ на фоне вибрации. Доктор выключает музыку через минуту.

— Извините, — вздыхает он. — В июле открыли новый воздушный коридор, прямо надо мной; с тех пор я каждый вечер считаю аэробусы. И врубаю Вагнера с Паваротти, пытаюсь их заглушить... С Шопеном покончено. Слабоват он против реактивных двигателей.

Второй раз во враче проглядывает человек. Мальчишеское удовольствие от гоночной машины и эта упрямая ностальгия, наложившая вето на пианино.

— Вы играете? — спрашивает он, перехватив мой взгляд, устремленный на «Плейель». Я в ответ поджимаю губы: понимайте как хотите — может, не умею, а может, скромничаю. Я не помню себя за инструментом, однако ощущаю покалывание и какую-то нетерпеливую дрожь в пальцах, которые сами тянутся к клавишам.

— Прошу вас, — приглашает он. — Играла моя жена, но я продолжаю его настраивать.

Я сажусь на табурет, заинтригованный этой внутренней тягой, не находя соответствующего ей воспоминания или пробела. Откидываю скатерть, кладу здоровую руку на клавиатуру. Жду. Жду рефлекса, автоматизма, но, не дождавшись, просто даю пальцам пробежаться по клавишам. При первых аккордах мелодии закрываю пианино.

— Вы не забыли, — говорит доктор с ноткой восхищения в голосе.

— Нет, забыл.

Я возвращаюсь на свое место у камина. Он спрашивает, что я играл — Гершвина? Понятия не имею. Отвечаю «Не помню», чтобы оставил меня в покое. А он и не настаивает. Тупо глядя в огонь, я тщетно перебираю в памяти гринвичский дом, флигель, в котором появился на свет, тетину квартиру в Бруклине, студенческое общежитие в Йеле... Нет ни намек на пианино, и нигде я не вижу себя разучивающим сольфеджио или играющим гаммы. Этого нет в моем прошлом. Это не мое воспоминание. И все же играть я умею.

Доктор наполняет опустевшие бокалы, протягивает мне тарелку с жареным арахисом,

вновь ставит ее себе на колени. Заметил ли он мое замешательство? Не знаю.

— Вы верите в реинкарнацию, доктор?

— То есть? Вы имеете в виду теорию о прошлых жизнях? О том, что все младенцы, появляющиеся на свет, уже когда-то жили? И что, если жить несправедливо, в следующий раз родишься несчастным, бедным и больным? Нет. Это самовнушение и только.

— Две трети планеты верят.

— Две трети планеты голодают — это же не оправдывает голод. Но если вы задаете этот вопрос в связи с вашей комой, я не буду так категоричен.

Холодок пробегает у меня по спине.

— Почему?

— Я расскажу вам один случай, по которому со мной консультировались, — еще более странный, чем ваш. В прошлом году одна молодая женщина из Де-Севра участвовала со своими друзьями в спиритическом сеансе — так, забавы ради. Усевшись вокруг стола, они крутили стакан, и души умерших будто бы отвечали на их вопросы. Да, нет, банальности, нестыковки... По окончании сеанса включили свет, погасили свечу... У молодой женщины был какой-то странный вид. Ее спросили, что с ней, — она ответила по-испански. Первым удивился ее муж: он понятия не имел, что она знает этот язык. Но вот представьте, ее продолжают расспрашивать, и на все вопросы она отвечает по-испански. Никто из друзей испанским не владеет, ее просят прекратить комедию — бесполезно. Она как будто разучилась говорить по-французски. Шутка перестает быть смешной, атмосфера накаляется, друзья уходят, муж ложится спать рассерженный. Наутро, выйдя к завтраку, он обнаруживает, что жена играет с детьми, обращаясь к ним по-испански. Тут муж пугается не на шутку; он зовет консьержку-испанку, и та переводит ему слова жены: она говорит, что ее зовут Росита Лопес, она умерла неделю назад в Барселоне, ей не хотелось покидать этот мир, и она счастлива в новой семье. Вызвали врача, тот поставил диагноз: раздвоение личности. Но самое любопытное: удалось выяснить, что некая Росита Лопес действительно скончалась в Барселоне за неделю до сеанса.

Он отправляет в рот горсть орешков.

— Ее показали десятку специалистов, в том числе мне. Мы констатировали перемену языка, но с медицинской точки зрения не обнаружили никаких симптомов шизофрении, никакой амбивалентности мышления, ни одного из синдромов, сопровождающих раздвоение личности. Больная абсолютно вменяема и адекватна, настроение у нее ровное, чувства неизменны: она обожает своих детей, любит и хочет мужа, который отбивается как может от домогательств незнакомки, вдруг оказавшейся его спутницей... Наконец, не выдержав, он обратился к колдуну, и тот молитвами и обрядами сумел-таки изгнать вселившуюся в его жену душу. Молодая женщина снова стала собой, с одной лишь разницей: она по-прежнему говорила по-испански. Проникновение было столь глубоким, что затронуло языковую зону в левом полушарии мозга. Бедняжке пришлось заново учиться родному французскому.

Я смотрю на пузырьки, поднимающиеся со дна моего бокала. Он проводит параллель с моей историей? Я интересуюсь, кем он в таком случае считает меня: захватчиком или пострадавшим от вторжения?

— Знаете ли вы, — отвечает он, — что лабораторные крысы находят дорогу в лабиринте, даже если им удалить девяносто процентов мозга?

— А это-то каким боком меня касается?

— И что профессор Макдугалл из Гарвардского университета доказал: другие крысы, биологически никак не связанные с подопытными, запомнившими дорогу в лабиринте, спустя годы так же быстро и безошибочно находят выход. Как будто этот лабиринт содержит память о прошлых опытах... Я вот к какому вопросу вас подвожу, месье Харрис: где находится хранилище памяти? В нашем мозгу или вне его? Почему при неоднократном воздействии электричеством на определенную точку гиппокампа у пациента немедленно возникает важное воспоминание, но никогда *одно и то же*? Быть может, наш мозг — не столько склад, сколько приемо-передающее устройство? Пойдем дальше: каким образом

мозг, лишенный кислорода, когда нарушены его функции в фазе комы, может складировать и обрабатывать воспоминания на долгий срок, как это бывает в случае околосмертного опыта? Дело в том, что на пороге смерти, как, по всей вероятности, и в состоянии медиумного транса, резко активизируется правая височная доля, подключаясь, помимо воли человека, к банку данных, находящемуся вне его тела. К *вашему* банку данных... или блуждающей души, или человека, чью жену вы вожделеете.

Я ставлю стакан, отстраняю протянутую им тарелку.

— А почему вы смотрите на эту историю так однобоко? Почему не тот, другой, взломал мой банк данных?

— Потому что его признает жена.

Дребезжит старенький телефон на комод. Фарж выбирается из подушек, снимает трубку, тусклым голосом произносит «Алло». И тотчас светлеет лицом.

— Да, все в порядке, передаю ему трубку. Привет вашим.

Он ставит мне на колени допотопный аппарат с переключенным проводом. Мюриэль извиняется за скомканный разговор: к ней как раз сел пассажир, было неудобно, она очень сожалеет, что не может сегодня с нами поужинать. Спрашивает, как мои дела. Я отвечаю, что все это происки «Монсанто» и иже с ними; я в этом уверен и завтра получу доказательства.

— Выключи игру сейчас же! — вдруг кричит она. — Я кому сказала — в кровать, ты знаешь, который час? Иди скажи сестре, чтобы сделала потише музыку, я разговариваю по телефону! Вы еще здесь, Мартин?

От нежности, зазвучавшей в ее голосе, у меня перехватывает горло. Впрочем, это не совсем нежность, скорее потерянности. Она просто честно дает понять, что ей одиноко в своем беспокойном семействе, а еще, возможно, не хватает меня.

— Ну а у вас как, все хорошо? Жаркое и швейцарский сыр?

— Да.

— Один совет: не увлекайтесь бургундским. Ладно, приятного вам вечера.

— Мюриэль... Когда мы увидимся, моя проблема уже будет решена. Но одному я рад: благодаря ей я познакомился с вами.

Я слышу фальшь в своем голосе, хотя говорю от души. Она отвечает, что это очень любезно с моей стороны. Застенчивость или вежливость — не поймешь. Доктор, тактично отвернувшись, помешивает угли в камине. Мюриэль сворачивает разговор, просит звонить, когда будут новости, добавляет «Целую». Ее голос опять словно сел, звучит как у переводчиц в телевизоре, когда они произносят безличное «я» за других. Со странным чувством — смесью сожаления и досады — я вешаю трубку. Голова наливается тяжестью от всего, что я не высказал.

— Она очень мужественная женщина, — комментирует доктор, думая, что отвечает на мои мысли.

Я повожу носом и сообщаю ему, что пахнет горелым. Выронив кочергу, он бросается в кухню, оттуда доносятся ругательства и грохот упавшего сотейника. Я спешу следом, помогаю подтереть пол.

— Ничего не поделаешь, пожарю яичницу. Вы не беспокойтесь, отдохайте.

Я открываю дверь и выхожу в сад. Дождь кончился. Делаю несколько шагов, вдыхая острый запах мокрой травы. Вокруг меня зажигаются прожекторы. Изумительная картина, призрачная, умиротворяющая. Альпийская горка уступами, последние отцветающие розы среди японских хризантем и зимнего жасмина.

Я иду от дерева к дереву, обнимаю стволы. Они мне рады. Вот их я чувствую. Не то что деревья на Севастопольском бульваре. А может, я сам изменился. Я снова открыт, восприимчив, доступен... Благодаря чему восстановился контакт? Тем встревоженно-доверчивым ноткам, зову, который я услышал в голосе Мюриэль? Или тому, что на площади Форум я почувствовал себя хозяином положения? Я снова в гармонии с моими неподвижными братьями, я настроен на их волну, моя кровь пульсирует в одном

ритме с их соками. Их энергия перетекает в меня, растворяя тревоги, сомнения, тяготы больших городов. С детства я по-настоящему хорошо себя чувствую, только прикасаясь к коре; неделя вдали от леса — и я уже не человек. Я прижимаюсь грудью к серебристой иве, спиной к пурпурному буку, глажу дубы, разговариваю со сливовыми деревьями, уцелевшими в запущенном саду. Но радость встречи омрачена не дающим мне покоя вопросом: почему пианино вызвало во мне то же ощущение узнавания, что и деревья?

Жером Фарж вышел вслед за мной; он стоит, засунув руки в карманы, между сухими яблонями и говорит, что никак не решится их срубить: они так вписываются в пейзаж... Я отвечаю, что он прав: на умирающих деревьях растут грибы-вешенки, которые поедают червей-нематод, паразитирующих на корнях. Клейкие волокна служат грибам чем-то вроде лассо: при соприкосновении с жертвой их клетки набухают и душат ее. Без этих паразитов, поселившихся на мертвых соседях, сливам было бы куда хуже.

— Вы действительно ботаник, — негромко произносит доктор, качая головой.

— Конечно, я ботаник, а вы как думали?

— Я хочу сказать... вы коллега Мартина Харриса, это несомненно.

Я хватаю его за плечи, рывком разворачиваю к себе.

— Послушайте, доктор. Этот человек сфабриковал фальшивые документы и сделал соучастницей мою жену. Его цель — помешать моему сотрудничеству с НИИИ в борьбе против трансгенов. Понятно? Я даже начинаю думать, что та авария была попыткой умышленного убийства: подобное не состряпаешь за неделю. Все было задумано еще до моего приезда во Францию, они вели меня от самого аэропорта и в подходящий момент...

— Жаль вас разочаровывать, но паранойя тоже является одним из побочных эффектов глутамата.

— Вы меня достали своим глутаматом!

Из темноты появляется собака, замирает в метре от меня, злобно скалясь.

— Улыбайтесь, — цедит сквозь зубы Жером Фарж, похлопывая меня по плечу. — Держитесь непринужденно, как я. Все в порядке, Трой, это друг, мы шутим. Лежать.

Зверюга медленно ложится, не сводя с меня пристального взгляда.

— Не обижайтесь, на мои подкалывания, Мартин, я вас проверяю. Хочу посмотреть, до какой степени вы убеждены в том, что говорите. Действительно ли сами во все это верите.

— А во что верите вы?

Глядя мне прямо в глаза, он отвечает:

— В вас. Человек вы хороший, в этом я твердо уверен.

— Да что вы обо мне знаете? Я украл у вас рецепты и продал их, чтобы купить себе эти шмотки!

Признание вырвалось само собой, я даже не успел понять, откуда вдруг нахлынула эта агрессивность, потребность обидеть в ответ на доброту. Но он по-прежнему улыбается. И не только из-за собаки. Забавно, говорит он. Оказывается, дочка Мюриэль проделала с ним такой же номер два года назад, когда он лечил ее после попытки самоубийства. Она выписала себе амфетамины и принесла их ему: чисто провокационный жест, хотела показать, что не «выкарабкалась», как он утверждал, и вольна повторить попытку, когда ей вздумается. Он оставил ей рецепты — как залог доверия, в знак того, что сознательно берет на себя риск. Следующим летом она прислала их ему по почте вместе с копией диплома парикмахера и фотографией своего парня.

— Позвольте полюбопытствовать, почему нынче идет рецепт?

— Сто пятьдесят евро.

Он с обидой замечает, что консультация дешевле.

Глухой рокот очередного самолета окутывает нас, огоньки на крыльях мигают сквозь крону ивы, скрываются за соломенной крышей.

— Раньше, — вздыхает доктор, — здесь была абсолютная тишина. Как в святилище. Я наслаждался полным отсутствием звуков, смаковал его, как смакуют коньяк, грея рюмку в ладони. Больше этому не бывать.

Его печаль трогает меня и как-то смягчает. Впервые я не чувствую себя условно освобожденным, поднадзорным. Собака поднимается и трусит в свою конуру. Мне хочется как-то утешить доктора.

— Во всяком случае, сад у вас в прекрасном состоянии.

— Для кого? И надолго ли? Мой сын преподает на Таити, после моей смерти он продаст этот дом... Мой дух будет навеваться к чете идиотов, которые давным-давно нацелились на это гнездышко, — добавляет он, показывая на соседний домик за дубами. — Знаете, из тех, что прирастают год от года, образцовая семейка, плодятся как кролики и собираются вместе на уикенд. Зимой используют для сгребания листьев агрегат с мотором вместо грабель, а в остальное время подстригают свои восемьсот квадратных метров газона трактором-косилкой. Здесь они выкорчуют деревья, а альпийскую горку подорвут динамитом, чтобы все было ровненько. Их идеал сада — поле для гольфа.

Низко опустив голову, он направляется к дому. Я иду следом.

— Вы есть хотите? — спрашивает он в кухне, с тоской глядя на пустую сковородку на плите.

— Нет. Орешков вполне достаточно.

— У меня есть еще соленые крендельки. И маслины.

Он берет с буфета бутылку бургундского, штопор, и мы возвращаемся к мягким подушкам у камина.

— Пока со мной была моя жена, здесь жилось как в раю. По крайней мере, я не обращал внимания на мелкие неудобства. Как оно вам? — осведомляется он, видя, что я пригубил вино.

— Отличное, — отвечаю я, чтобы не расстроить его еще сильнее.

— Я пять лет живу под наблюдением врачей — у меня рак. Честно говоря, подустал от этого сосуществования, но хочется надеяться, я еще нужен слишком многим пациентам, чтобы опустить руки. Я добился определенных успехов, выпустил книги, какие хотел, прожил тридцать лет с женщиной, которая была счастлива со мной, — жаловаться мне не на что. Я приканчиваю запасы бургундского и дров. У меня еще осталось тридцать шесть бутылок «Нюи-Сен-Жорж» семидесятого года и две трети дуба, который умер в один год с моей женой. Он уже достаточно высох для камина, а вот вино подкисает. Нет?

Я киваю.

— Я давно это подозревал, по цвету. У меня-то отшибло вкус с тех пор, как я один. Психосоматическая агезия...⁵ Единственный случай за всю мою карьеру — я сам. Мне осталось только радовать глаза. Цвет и память...

Потрескивание дров растворяется в рокоте реактивных двигателей, который удаляется и стихает, заглушаемый новым, еще более близким ревом.

— Мартин.

— Да?

— Идите ложитесь, если устали.

Я выпрямляюсь. Голова мутная, во рту привкус дыма.

— Я что, спал? Долго?

— Три аэробуса. Я успел подбросить полено и налить себе вина.

— Извините...

— Не извиняйтесь. Я знаю, что своими разговорами могу усыпить кого угодно, наверно, это во многом определило выбор профессии.

Вино покачивается перед его глазами в свете пламени. Помолчав, он добавляет:

— У вас информативный сон.

— Я что-то говорил?

— Звали. Три раза.

⁵ Потеря вкусового ощущения.

— Лиз?

— Вы не хотите поговорить о ней?

Я потягиваюсь, допиваю вино, отправляю в рот несколько маслин.

— К чему? Я теперь уж и не знаю, кто моя жена. Не знаю даже, с каких пор она заодно с теми.

— Я не верю в мифический заговор против вас. Вернемся лучше к вашему околосмертному опыту, если не возражаете.

— В него вы тоже не верите.

— Мы с вами были в больнице. Не выказывай я скептицизма, моему отделению давно урезали бы кредиты.

Он встает, чтобы поправить полено, скатившееся с подставки. Кладет щипцы на место, оборачивается. Стоит, прислонившись спиной к камину, и внимательно смотрит на меня; закуривает, протягивает пачку. Я отказываюсь: не курю, бросил.

— Давно?

— Лиз бросила, пришлось и мне.

Мне вспоминается, как мы, бывало, курили одну сигару на двоих в начале нашей любви, передавая ее друг другу через каждые две-три затяжки, за столиком в ресторане, отгороженные от всех дымовой завесой, с удовольствием шокируя окружающих и создавая иллюзию уединения...

Доктор садится.

— В июне прошлого года одна пациентка вышла из комы «Глазго-4», как вы, но с полной потерей памяти. На все мои вопросы она отвечала одно: «Дырявая кроссовка на карнизе». И показывала на потолок. Она так долго это повторяла, что в конце концов я попросил проверить. И действительно двумя этажами выше обнаружили соответствующую описанию кроссовку, причем лежала она так, что ее нельзя было увидеть ни из окон больницы, ни с земли, ни с крыши, а только забравшись на приставную лестницу с фасада. Или пролетая над улицей...

Я забываю дышать. Как будто с каждой его фразой с моей груди снимают тяжесть. Волна легкости скользит по затылку вниз.

— Когда вам показалось, что вы расстаетесь со своим телом, в каком эмоциональном состоянии вы были?

Я закрываю глаза, припоминая тогдашние ощущения.

— Страшно мне не было. Помню удивление и одновременно чувство, будто так и надо. Но, кажется, все произошло так быстро...

— О чем вы думали?

— О Лиз. Я хотел дать ей знать о том, что со мной случилось.

— Вы имеете в виду аварию или смерть?

— Аварию. Мертвым я себя ни в какой момент не чувствовал.

— Вы видели себя рядом с ней?

— Кажется, да. Потом был туннель, яркий свет и мой отец, он сказал мне...

— Оставьте туннель. Меня интересует Лиз. Вы были дома, в вашей комнате?

— Не знаю. Когда я пытаюсь вспомнить, где это было, мне почему-то видится другая картина. Мы с ней на улице, на Манхэттене, стоим, обнявшись, и целуемся. Я вижу нас сверху, как будто лечу...

— Вот как? Вы видите ваше тело живым в какой-то момент прошлого...

— Возможно. Но я не помню, чтобы мы с Лиз целовались в этом месте.

— Где это?

— На углу 42-й улицы и Шестой авеню, под экраном, показывающим сумму государственного долга на сегодняшний день и его долю, приходящуюся на каждую американскую семью...

— И какова же она?

— Шестьдесят шесть тысяч двести девять долларов, — машинально отвечаю я.

— У вас и правда потрясающая память.

Я открываю глаза.

— Только на такие бесполезные подробности. Но этого поцелуя наяву я не помню.

— Это символическая картина.

— Она мне все время снится.

— А цифра не меняется?

— Никогда. И угол зрения один и тот же.

— То есть повторяющийся сон всегда идентичен.

— Нет. Сейчас, когда я уснул... Мне снилась та же сцена, только Лиз отстранилась, и я увидел свое лицо. Это было чужое лицо, это был не я.

— Логично: ваш сон воспроизводит ситуацию, которую вы переживаете в настоящий момент.

— Но это был и не самозванец! Я не знаю, никогда не видел этого человека...

Доктор вздыхает, откидывается назад, закидывает ногу за ногу.

— Мне все-таки кажется, что суть вашей проблемы — ревность.

— Да я никогда в жизни не ревновал! До аварии мне даже в голову не приходило, что у Лиз мог быть кто-то другой. И для меня это вовсе не было бы трагедией, наоборот!

Он жестом просит не перебивать его.

— Вы пребываете в глубокой коме. Кора головного мозга испускает биотоки независимо от внешних факторов. Это ясно? Ваше отдельно существующее сознание — назовем его вашим «астральным телом» — перемещается в комнату Лиз, и вы застаете ее, допустим, в постели с другим мужчиной. Ситуация совершенно для вас невыносимая, что бы вы ни говорили, — невыносимая до такой степени, что во сне вы подменяете ее картинкой-экраном простого поцелуя с незнакомцем на улице. Но в тот момент в комнате эффект двойного потрясения — ревность и нежелание умирать — таков, что ваше «астральное тело» вселяется в любовника. Нечто подобное мы наблюдали в случае Роситы Лопес. С той лишь разницей, что в дальнейшем срабатывают жизненные силы — возможно, это связано с вашим нежеланием *уступить место*, возможно, нет, — и вы выходите из комы в ясном рассудке. Но отпечаток вашей личности остается в памяти любовника, в которую вы вторглись. Вот откуда и эта раздвоенность сознания, и два Мартина Харриса, оба, насколько я понял, искренне убежденные в своей подлинности.

Он выдерживает паузу, давая мне переварить услышанное.

— А вот чего я не могу объяснить — почему ваша жена выбрала его и вычеркнула из памяти вас.

Я отставляю стакан. Это мне как раз понятно.

— Все это, конечно, только домыслы, — добавляет он, подавив зевок. — Отдохните, поговорим завтра на свежую голову.

Я встаю. Он провожает меня в комнату, желает спокойной ночи, в дверях вдруг оборачивается. И произносит тихо, совсем другим голосом, с какой-то растерянной теплотой:

— Как давно я не слышал пианино...

С этими словами он уходит по коридору, опустив голову.

Я закрываю дверь, раздеваюсь, ложусь на чистые простыни, пахнущие мятой и корицей. На подушке вышиты две переплетенные буквы: Ж и В. Я тоже любил Лиз, я любил ее страстно. Почему же сейчас она кажется мне чужой — настолько, что даже обиды нет? Почему ее лицо, когда я гашу свет, сливается с лицом Мюриэль, ее тело — с образом продавщицы из Форума, почему незнакомые женщины возникают в моей голове с каждым пролетающим самолетом? И почему этой ночью я чувствую себя так хорошо один, раскинув ноги на двуспальной кровати?

Она распахнула ставни, высунулась из окна. Протянула руку, проверяя, нет ли дождя. На ней одна из моих рубашек, как всегда по утрам. Вот она исчезает, оставив окно открытым.

Я отступаю в нишу, где мерзну уже целый час. Она всегда спала голой и накидывала мою рубашку, когда шла готовить завтрак. Единственный ритуал из первой поры нашей любви, над которым оказалось не властно время. У меня сжимается горло при мысли о запахе кофе, который каждое утро просачивался в мои сны. Когда я выходил к ней в кухню, мы, наверно, через день занимались с утра любовью под аккомпанемент ток-шоу, которое она смотрела вполглаза через дверь по трем постоянно включенным телевизорам и, только если тема была ей очень интересна или гость особенно знаменит, усаживалась перед домашним кинотеатром на диван в гостиной с подносом на коленях, а я тогда уносил свою чашку в ванную.

Сегодня утром кофе не было — только чай без теина и соевое печенье. Завтрак нейропсихиатра. Он еще спал, Бернадетта гладила трусы на кухонном столе рядом с чашкой. Она сказала, что я выгляжу лучше, чем вчера. Я ответил, что жаркое было изумительное.

— А вы откуда знаете, у собаки спросили?

Я покраснел; впрочем, от утюга шел жар. Домработница пожала плечами и буркнула, что ей не привыкать готовить впустую: у доктора аппетит что у воробушка. Она собиралась на рынок в Рамбуйе и стала допытываться, чего бы мне хотелось к обеду. Я попросил подвезти меня до станции. Доктор очень помог мне — не столько его теории насчет моей комы, сколько его собственная ситуация, его откровенность, его смиренная тоска и деятельная беспомощность. Я оставил записку с благодарностью на столе. В саду, отряхивающем капли в солнечных лучах, Бернадетта звала пса, но его нигде не было видно.

— Опять у соседской доbermanихи течка, — ворчала она, откидывая верх «Хонды».

Машину она вела, близоруко щурясь, но лихо, то и дело перестраивалась, пересекая белые линии и прибавляя газу на поворотах; встречные автомобили отчаянно мигали фарами.

— Мы с мужем, — гаркнула она, перекрикивая рев двигателя и свист ветра, — в молодости ралли выигрывали! Это я научила доктора водить машину!

Синий «универсал» ехал за нами от самой опушки леса. Внезапно на крутом повороте он обогнал нас и тут же стал тормозить. Бернадетта так вывернула руль, что мы чуть было не улетели в овраг. Она еще минут пять костерила деревенских жандармов, с утра «заливших глаза». Я ничего не сказал, но машина-то была не жандармерии.

В поезде, пока я добирался до Парижа, меня одолела самая настоящая паранойя. Мне казалось, будто за мной следят из-за газет, и я переходил в другой вагон на каждой станции. Вспоминался то желтый грузовик, врезавшийся в такси Мюриэль Караде, то мотоциклист у Центрального рынка...

Лиз возвращается к окну, вытряхивает скатерть. Крошки скатываются по ребристому шиферу и падают в водосточный желоб. Она медлит, любуется открывающимся видом. Сейчас она выглядит гораздо спокойнее, чем в Гринвиче. Я не знаю, что она там целыми днями делала. Гольф, магазины, бридж в «Кантри-клубе», благотворительность — это по ее словам, а вечерами, приходя из университета, я всегда находил ее в одном и том же уголке дивана со стаканом виски и включенными новостями CNN. Судя по километражу на спидометре ее машины, если она куда-то и выходила, то пешком.

Окно закрылось. Я пытаюсь вспомнить, как выглядит квартира, представить себе комнаты, знакомые мне только по фотографиям, которые Кермер присылал через интернет. Гостиная-мансарда с видом на улицу Фобур-Сент-Оноре, большая кухня с окном во двор и спальня, за которой я сейчас веду наблюдение с улицы Дюрас... Этакая бонбоньерка в потускневшей позолоте, всюду куклы — интерьер жилища старой дамы. Интересно, как обустроила ее за неделю Лиз, превратившая в свое время мой деревянный дом в образчик декора Новой Англии?

Я вспоминаю наш последний понедельник в Гринвиче, в тишине леса, уже тронутого осенней рыжиной, — леса, от которого у нее зимой тоска, а весной аллергия. Все как обычно: я ухожу, оставляя ее тупо сидящей с пультом под рукой перед «Шоу Дженни Джонс», где ведущая, восторженно щебеча, подсовывает микрофон медиумам, призванным сообщить зрителям новости об их пропавших близких, между двумя рекламными роликами, в которых адвокаты нахваляются своими услугами по ведению процессов против врачей, сплеховавших с диагнозом. Сегодняшняя звезда — донельзя силиконовая блондинка; она якобы понимает язык животных и служит переводчицей между Лабрадором и его хозяином. Лиз в восторге. Она в это верит. Записывает координаты ясновидящих, в том числе и собачьей переводчицы, хотя у нас нет ни собаки, ни кошки. Я говорю ей, что нельзя быть такой легковерной. Она парирует: уж мне бы лучше помолчать с моими говорящими деревьями. Я злюсь, прошу не путать божий дар с яичницей, эксплуатация горя наивных людей — вот что меня возмущает, а не сам феномен, и мы начинаем орать друг на друга, перекрикивая адвокатскую брехню и назойливую музыку. Лиз тогда назвала меня «шизанутым», я вlepил ей пощечину, она упала навзничь и рассекла лоб о ножку торшера.

Я поднимаю глаза. А вот и он, заступивший на мое место, облокотился о подоконник, довольный, выпавшийся. Спокойно, с кайфом курит в моей пижаме от «Гермеса», той самой, из аэропорта Кеннеди. Лиз протягивает ему чашку, он берет, не глядя на нее, машинальным движением. Как будто они живут этой жизнью так же долго, как я.

Из-за угла выходит мамаша с двумя дочками в теннисной форме. Девчушки шепчутся, загораживаясь ракетками, косятся на меня, хихикают и продолжают секретничать. Мать поторапливает их, открывает дверцу машины, запикивает своих чад внутрь, бесцеремонно подталкивая, как полицейский арестованных. Лиз, наверно, хотела бы ребенка. А я? Не знаю, трудно сказать. Я слишком тяжело перенес семейный крах отца, чтобы самому мечтать называться папой. Чего бы мне хотелось — рассказать маленькому мальчику все, что я знаю о деревьях. Но я не вынесу, если он отмахнется, выслушает меня вполуха, чавкая жвачкой, и поспешит вернуться к видеоиграм.

Поразительно, но я все еще мыслю *по-старому*, мусолю обиды, смешные в моей нынешней ситуации, переживаю прошлые ошибки острее, чем свое положение жертвы. Что бы я ни сделал когда-то Лиз — все пустяки по сравнению с тем, чему она подвергает меня сегодня, но это ничего не меняет — так, оказывается, я устроен. Пусть нас больше ничто не связывает, мое чувство к ней неизменно, на удивление свежо, будто мы встретились вчера. Странно, выходит, если тебя вычеркнули из настоящего, прошлое от этого только молодеет.

Они ушли, окно закрыто, и до меня доносятся приглушенные звуки пианино. Возможно, это он играет. Если он знает не меньше моего о ботанике, логично предположить, что он пианист. Но почему именно эта деталь его личности отпечаталась во мне — и только эта? Почему, если моя память и его слились воедино, я не нахожу в себе других его воспоминаний, ни одного?

Я вздрагиваю. Вслед за пианино зазвучал оркестр. Запись, вот оно что. Это ничего не доказывает и не решает, и все же я улыбаюсь, будто одержал хоть маленькую, но победу над абсурдом, в котором барахтаюсь. Как в моем положении отделить то, что возможно, от того, чего не может быть? Я так и этак прокручиваю в голове гипотезу доктора Фаржа о «раздвоенности», о том, что мое сознание в состоянии клинической смерти внедрилось в мозг соперника, в результате чего он стал моим дублем... нет, я в это не верю. Но мне нечем обосновать сомнения. Разве только чисто субъективным ощущением, что, кроме моих воспоминаний, в нем нет ничего от меня.

Из вентиляционной решетки потянуло горелым жиром. Одиннадцать часов, заработала кухня ресторана. От резкого, чуть сладковатого запаха в памяти всплывает моя юность в фаст-фуде на Кони-Айленде, в фирменной натановской шапочке. Я вспоминаю конец уроков, десять остановок на воздушном метро от средней школы Джона Дэви до Серф-авеню, белое здание с плоской крышей-террасой, золотые буквы под улыбающейся

сосиской в тени заброшенной «большой восьмерки»: *«More than just the best hot-dog»*⁶. И этот запах, который въедался в кожу, не смывался никакими шампунями, запах моих ночей у плиты, от которого морщили носы одноклассницы, запах, который, я знал, откроет мне со временем двери университета, но из-за которого тогда я никуда не мог пойти.

Я знаю, почему тот, другой, ненастоящий. Это видно по его лицу, по непринужденности его поведения, по его невозмутимости. Он не знал стыда, не ловил на себе презрительные взгляды девушек. От него никогда не пахло жареной картошкой. Я понимаю, что этот довод ничто по сравнению с доказательствами, которых я жду, но именно он отзывается во мне глубже всего. Вот чего ему не хватает — стыда. За это я ненавижу его, кажется, даже сильнее, чем за то, что он мог проделывать с Лиз за этими закрытыми ставнями. Как будто полбеды, что он подделка, — хуже, что подделка некачественная.

Она вышла. Пересекает улицу наискосок, заворачивает за угол, идет в сторону Елисейских полей по солнечной стороне. Я покидаю свое укрытие и следую за ней на расстоянии в толпе туристов. На ней незнакомый мне зазывно облегающий костюмчик, плащ наброшен на плечи. Она идет с беззаботным видом, рассматривает витрины, поправляет прическу, украдкой стреляет глазами, проверяя, оглядываются ли на нее мужчины. Такой я ее раньше не видел. Она всегда была какая-то деревянная, зажатая, везде, кроме постели... Она между тем сворачивает на авеню Мариньи и, взглянув на часы, ускоряет шаг.

Какой-то прохожий толкает меня — этакий взвинченный культурист. Остановившись, требует извинений. Я отстраняю его, перешагиваю через оброненную им папку. Стараясь не терять из виду удаляющуюся под каштанами фигурку, прибавляю шаг. Культурист хватается за локоть, повышает голос: «Просите прощения!» В следующую секунду он лежит на земле, согнувшись пополам. Я сам не ожидал такой силы и точности удара, не знал, что владею приемами каратэ, явно сработал какой-то рефлекс... Мне приходится порой лазать по деревьям, но спортом я никогда не занимался — просто не было времени. Как и на пианино играть никогда не учился.

Вокруг скорчившегося от боли здоровяка уже собрались люди, а я растворяюсь в толпе. Лавируя между прохожими и машинами, бегом пересекаю проспект. Чтобы обойти очередь в кассы театра Мариньи, приходится сойти с тротуара. Вереница грузовиков заслоняет от меня перекресток. Я прибавляю ходу, останавливаюсь, пережидая поток машин, мчащихся к Рон-Пуэн, кручу головой во все стороны. Я ее потерял.

Вдруг ее волосы мелькают у входа в метро. Я бегу, почти скатываюсь по лестнице, нагоняю ее на развилке, когда она сворачивает в сторону «Дефанс». В переходе, где играют скрипачи, она вдруг переходит на бег. Кажется, засекла меня... но может, просто заторопилась, услышав звонок подошедшего поезда. Она вскакивает в набитый вагон. Я ухитряюсь втиснуться, когда двери уже закрываются, перевожу дыхание, оглядываюсь. Она стоит метрах в двадцати. Не знаю, видела ли она меня, пыталась ли оторваться или просто опаздывает.

На каждой остановке я расталкиваю соседней локтями, проверяя, не собирается ли она выходить. Она выходит на третьей. Бежит к выходу на авеню Гранд-Арме, сворачивает по указателю «четная сторона». Ни разу не замешкалась, не огляделась. Или уже ходила этой дорогой, или просто водит меня.

Она почти бежит по лестнице, застегивает плащ, ежась от налетевшего ветра, идет вниз по проспекту, поворачивает на улицу с односторонним движением. Останавливается у отеля — и вдруг оборачивается. Я угадал ее движение секундой раньше и успел спрятаться за ствол. Ее взгляд шарит вокруг, так и не зацепившись за мое дерево. Она входит.

Я бегу к отелю, продвигаюсь вдоль фасада, прикикая лбом к окнам, пытаюсь разглядеть, что там за занавесками. Это бар. Я вижу, как она, помедлив в дверях, направляется к столикам у стойки. Тогда и я иду к вертящейся двери, которую придерживает

⁶ Больше, чем просто лучший хот-дог (англ.).

передо мной портье. С видом праздного посетителя пересекаю холл, останавливаюсь у входа в бар, будто изучаю меню. Лиз сидит на угловом диванчике рядом с юнцом лет двадцати — плутоватая улыбочка, кожаная жилетка. На столике рядом с его стаканом лежит большой фотоаппарат. Он с гордостью демонстрирует его Лиз, приобняв ее одной рукой. С чувством, будто меня ударили под дых, я смотрю, как она тянется к нему губами и они целуются. Долго, страстно, это поцелуй любовников, наконец-то дождавшихся встречи. Так она целовалась в моем сне с незнакомцем на Шестой авеню под суммой государственного долга.

Ко мне направляется метрдотель. Я ретируюсь, отступаю к липе, только что укрывавшей меня. Я ревную, но почему-то больше не ощущаю ярости. Теперь это пропасть, свободное падение. Сколько же у нее любовников, сколько еще мужчин я обнаружу в своей жизни? Того, с кем она живет на улице Дюрас, ей, значит, уже недостаточно? Сколько раз будет она убивать меня в объятиях другого? Она больна, она определенно сошла с ума, это назревало в ней все эти годы молчания, мелких ссор и депрессии, скрытых под семейной скукой. Я нашел отправную точку, все началось с той пощечины из-за «Шоу Дженни Джонс», но истинный корень зла — в чем он? В ее увольнении из адвокатской конторы, причину которого она мне так толком и не объяснила, в моих поездках без нее в экспедиции по всем лесам земного шара или в моей вечной занятости в лаборатории, за пятьдесят миль от дома? Иногда по вечерам мне казалось, что с ней что-то не так, но она ухитрялась не отвечать на вопросы, переводя разговор на мои исследования, и расспрашивала о них поначалу с такой искренней заинтересованностью, что я не заподозрил подвоха. Я рассказывал ей про свои догадки, про опыты, про удивительные открытия, она восторженно ахала, и мне этого хватало, я не волновался на ее счет. Полагал, что она от меня без ума, и спал спокойно.

Фотограф выходит первым — аппарат через плечо, ухмылка на губах. Он уносится, оседлав мотороллер с надписью «Пресса». Три минуты спустя она тоже покидает отель и направляется к метро, так же деловито, как пришла. Я машинально слеую за ней, уже не пытаюсь понять, откуда взялся этот мальчишка, почему их свидание было таким коротким и отчего она идет с таким равнодушным видом, озабоченная исключительно своим отражением в витринах.

Я ускоряю шаг, чтобы нагнать ее, — и одумываюсь. Не здесь. Не в положении соглядатая. Не с позиции силы.

На «Клемансо» я выскакиваю из вагона, как только открываются двери, бегу со всех ног к выходу и останавливаюсь в конце платформы, прислонившись к автомату с напитками. Ссутулив плечи, скрестив на груди руки, старательно принимаю обреченный вид — будто стою здесь уже не один час, жду сам не знаю чего, ни на что больше не надеюсь. Высматриваю в толпе ее плащ. Поднимаю глаза и, когда она подходит, подаюсь ей навстречу.

— Лиз!

Она замирает. Даже не вздрогнула — или едва заметно. Пропустив группку людей, приближается ко мне. По ее глазам я вижу: сейчас она заговорит со мной на «вы», потребует оставить ее в покое, пригрозит позвать полицию.

— Я понял, Лиз. Я знаю, почему ты это делаешь.

Она светлеет лицом. Потом хмурит брови, удерживаясь от досадливого жеста, изображает непонимание. Четыре реакции, противоречащие одна другой. Она как будто предоставляет мне самому выбрать один из предлагаемых вариантов.

— Что я делаю?

Ни к чему не обязывающий вопрос, заданный нейтральным тоном, который может с равным успехом выражать как обиду, так и вызов. Я выпаливаю на одном дыхании:

— Ты не хочешь меня больше знать, ты нашла мне замену, ладно. Мы действительно стали чужими, держались только на воспоминаниях, ведь нас связывало что-то очень сильное вначале. Тебе представился случай одним махом разрубить этот узел, и ты это

сделала: меня нет, ты поставила на мне крест, но зачем, Лиз? Зачем? Чтобы вернуть мне свободу или чтобы я понял, что теряю?

Никакой ответной искры в ее глазах, никакого отклика. Она слушает, фиксирует, ждет.

— Прости меня, Элизабет. Я изменюсь. Я докажу тебе, что могу быть другим. Дай мне шанс...

— Ты был в квартире?

Это все, что ее волнует. Вот теперь она по-настоящему смотрит на меня. Я качаю головой, говорю, что не посмел ломиться в собственную дверь еще раз, не хотел снова быть незванным гостем, жупелом, посмешищем. Засунув руки в карманы плаща, она пытливо вглядывается мне в глаза. Хочет удостовериться, что я не виделся с самозванцем. Что не следил за ней. Мой смиренный вид, покорность попрошайки, готового на все, лишь бы вымолить прощение, должны ее ободрять.

— Что ты несешь?

Она произнесла это вполголоса, чуть в сторону, словно обращаясь к кому-то другому во мне. И продолжает настойчивее:

— Что за игру ты затеял? Издеваешься? Мстишь?

Не повышая голоса, без агрессивности, без упрека, с недоумением, которое кажется мне искренним. Я снова теряю почву под ногами.

— Лиз... Я твой муж или нет?

Она не попятилась, не подалась мне навстречу, не среагировала так, как можно было бы ожидать, — нет. Смотрит на меня — серьезно, вопросительно. Как будто не может сразу ответить, должна подумать, выбрать линию поведения. Вдруг она берет меня за руку порывистым движением, возвращающим нас на годы назад.

— Я не могу, Мартин.

— Чего ты не можешь?

— У меня нет выбора.

— Он тебе угрожает, да?

Сжав губы, она кивает.

— Если ты не ломаешь комедию, он тебя чем-то держит? Шантажирует? Но чем?

— Я не могу тебе сказать.

— А кто он?

— Я ничего не могу тебе сказать, Мартин, это слишком серьезно... Я только хочу, чтобы мы выбрались живыми. Ясно?

Смесь мольбы и надежды в ее голосе трогает меня до глубины души. Она сочиняет на ходу, импровизирует, я вовсе не чувствую, что ей грозит опасность, — а вот за меня она явно тревожится по-настоящему и, кажется, действительно хочет меня от чего-то защитить.

— Что я должен делать, Лиз?

— Затаись до субботы, и все встанет на свои места.

— Почему до субботы?

— Я все объясню потом, только не высовывайся пока, ни с кем не говори, не пытайся доказать, кто ты... Обещаешь?

— Да в чем дело? Мне хотят помешать работать в НИАИ? Из-за трансгенных продуктов?

На этот раз она заметно вздрагивает, а в глазах опять вопрос. И будто недоверие. Я решаюсь:

— Но это же бред, в конце концов! Заставить меня замолчать можно было гораздо проще, разве нет? Или тут что-то другое. Если это не «Монсанто», то кто?

Она сжимает мои пальцы и бессильно роняет руки.

— Мы выберемся, Мартин, клянусь тебе. Только затаись. Я люблю тебя.

Она вполне убедительна. Глаза прищурены, губа закушена, подбородок дрожит. А только что целовалась с фотографом, позволяла ему себя лапать... Я согласно киваю.

— Тебе нужны деньги?

Ее сумочка уже открыта, она сует мне в карман свою кредитную карточку.

— Где ты ночевал?

Неопределенным жестом показываю на скамейки, где досматривают сны клошары. Она вздыхает, качая головой, словно меня же винит за положение, в котором я оказался по ее милости.

— Сними номер в «Террасе».

Последнее слово для нас не пустой звук: отель на углу над Монмартрским кладбищем, номер «люкс», где мы любили друг друга двадцать четыре часа кряду. Наша первая поездка в Париж. Первые каникулы вдвоем. Как она смотрела на меня вчера утром, стоя посреди прихожей в трусиках и рубашке, смотрела как на недоразумение; как тот, другой, в моей пижаме, требовал оставить ее в покое и выталкивал меня за дверь...

— Я хочу знать одну вещь, Лиз. Это из-за меня или из-за него?

— Из-за него?

— Этот человек, с которым ты встречалась, забрал над тобой власть шантажом? Ты слишком поздно поняла, что это псих, что он воображает себя мной и хочет устранить меня, чтобы жить моей жизнью?

Она отворачивается, кусая губы, смотрит на поезд, подъезжающий к платформе напротив. Я чувствую, что попал в точку, — или же она пытается меня в этом убедить, чтобы я забыл о «Монсанто». Она не ответила ни на один вопрос. И дала мне свою карточку «Виза», чтобы меня засекли, как только я ею воспользуюсь.

— Я все сделаю как надо, только не мешай мне. В субботу я приду к тебе в «Террасу». Положись на меня, Мартин.

Последний взгляд, в самую глубину моих глаз, словно взывающий ко всему, что нас когда-то связывало. Это мелькнувшее в ее глазах выражение... Ничего не понимаю. Это не любовь — дружба. Напоминание об одной упряжке, о взаимопонимании с полуслова, о братстве, закаленном в испытаниях. Полная противоположность нашей с ней истории. Нашей страсти, изжившей себя в разладе, разочаровании и притворстве.

Я рывком привлекаю ее к себе, впиваюсь губами в ее губы. Она отвечает на поцелуй, не чинясь, с готовностью, старательно... И ничего. Я ничего не узнаю, ни ее язык, ни прильнувшее ко мне тело, ни руки, сомкнутые у меня на затылке... Я обнимаю клон. Клон без эмоций, без желаний, без ориентиров. Робота, который целует меня, как целовал давешнего фотографа или незнакомца под табло... Во мне нарастает раздражение, хочется ударить ее, как в тот злосчастный понедельник в Гринвиче, когда я единственный раз в жизни поднял на нее руку.

— О чем ты сейчас думаешь?

Я говорю ей, о чем. Она поднимает брови. Я излагаю свою версию ссоры, не жалея для себя черной краски, надеясь приглушить вновь поднимающуюся на нее злобу. Она слушает, уставившись на меня и приоткрыв рот. С таким видом, будто не помнит этой сцены. Почти машинально я отодвигаю ее челку. Вот он шрам, на месте.

— Да приди же в себя, черт побери! — шипит она и встряхивает меня за плечи. — Нашел время!

— А этот шрам — откуда он?

Ее глаза сужаются в щелки.

— Осколок стекла на Манхэттене, 2 октября... Понял? Очки. Ну, вспомнил?

— Это торшер в гостиной, Лиз. Когда я тебя ударил и ты упала. Почему ты не?..

— Прекрати!

Люди на платформе посматривают на нас с любопытством, настороженно, устало.

— Езжай в «Террасу», Мартин, пожалуйста. И жди меня. Я люблю тебя.

Лет восемь она не говорила мне этого, а сейчас повторила дважды за пять минут. Я смотрю, как ее фигурка удаляется под сводом, ступает на лестницу, ведущую к выходу, возвращается в свою жизнь без меня. Я ожидал всего, только не такого поворота. Она прилюдно заявила, что я — не я, а на самом деле это она стала другой. Кроме внешности и

духов, в ней нет ничего от женщины, с которой я прожил десять лет.

Я нашариваю в кармане монетку, бросаю ее в автомат, пью кока-колу, зажмурившись, маленькими глотками. Чего же она добивается? Хочет нейтрализовать меня, заморочить, разжалобить? Она так и оставила все недосказанным, не привела ни одного внятного довода, не дала мне в руки ни одной ниточки, ничем не подкрепила ни одного из своих утверждений; она ограничилась намеками, не дала себе труда убедить меня, просто вернула мне эхо моих же гипотез и велела затаиться. Только одно показалось мне вполне искренним: выражение братской дружбы в ее глазах, совершенно ни на чем не основанное.

Секретарша попросила меня немного подождать. Вот уже четверть часа я сижу между металлической скульптурой и висящим в рамке под стеклом запретом некоей марки сигарет, с цифрами прибылей и ущерба, выделенными желтым.

Детектив выходит из своего кабинета, провожая клиента, возвращается, извиняется перед человеком, пришедшим после меня: через три минуты он будет к его услугам. Кивком приглашает меня войти.

Я покидаю приемную с предчувствием, которое подтверждается, как только лысый сыщик в черной тенниске садится за стол. Он извлекает папку из стопки по левую руку, открывает ее и произносит без всякого выражения:

— Вы не существуете.

Я выдерживаю его взгляд, сглотнув пересохшим ртом. Он раскладывает перед собой документы и продолжает:

— С чего начать? С вашего рождения? Никакой Мартин Харрис не родился 9 сентября 1960 года.

Он даже не предложил мне сесть.

— И кто же вам это сказал? — парирую я, без приглашения усаживаясь в кресло.

— Запись актов гражданского состояния. Равно как не было Фрэнклина и Сьюзен Харрис, работавших в Диснейуорлде или на Кони-Айленде. Вы не женились на Элизабет Лакарьер 13 апреля 1992 года в Гринвиче; по адресу 255 Соумилл-лейн, где вы, по вашим словам, проживаете, находится лесопилка, а Научный центр исследований окружающей среды на Сэчем-стрит в Йеле, в котором вы якобы заведуете лабораторией с 1995 года, был построен только в прошлом году. Продолжать?

Привалившись к подлокотнику, чувствуя, как стекает за шиворот холодный пот, я хочу ему возразить, но он не дает мне открыть рта. В руках у него другой листок.

— Юридическая служба «Монсанто» никогда о вас не слышала; правда, обнаружены пять трактатов по ботанике, опубликованных под именем Мартина Харриса, а также подписанный им протокол, касающийся свидетельства растений в суде Мэдисона, штат Висконсин, в 1998 году, — однако тот Мартин Харрис умер год спустя. Ваш номер социального страхования принадлежит однофамильцу, электрику из штата Канзас.

Он поднимает глаза и, положив локти прямо на листки, сцепляет пальцы.

— Короче, вы не родились, вашей семьи не существует, ни один из ваших коллег не опознал вас по фотографии, а ваши открытия в области ботаники сделал другой человек.

Захлопнув папку, он подталкивает ее ко мне.

— Итог: вы должны мне тысячу триста евро, и я предпочел бы наличные.

Я кое-как собираюсь с мыслями и, выпрямившись, говорю, что здесь наверняка какая-то ошибка.

— А вот это уже не мое дело: вы наняли меня для проверки сведений, мои корреспонденты выполнили работу, я представил вам документацию, вот счет: расплачивайтесь, и мы квиты. Остальное меня не касается, ясно? Этот отчет ваш, делайте с ним что хотите, я не желаю знать, какими темными делишками вы занимаетесь или, может, просто любите пошутить, — платите и проваливайте.

Спокойно, подняв руки, тоном воплощенного благоразумия я пытаюсь объяснить ему, что результат его изысканий подтверждает гипотезу о заговоре против меня: факт моего существования ухитрились стереть даже из компьютеров отделов записи актов гражданского состояния... Но лицо его все так же непроницаемо, и тогда я, расстегнув браслет, кладу перед ним на стол свой «Ролекс».

— Если и это такая же фальшивка, как все остальное... — говорит он.

Я не отвечаю. Он берет часы, вертит в руках, ищет пробу, потом прячет их в ящик стола. Они стоили четыре тысячи долларов полгода назад — это подарок на десятую годовщину свадьбы.

— Всего хорошего, месье Харрис. Отдаю должное вашему таланту: сцена потеряла великого актера.

Я встаю, беру документы и иду к двери; он уже уткнулся в следующую папку. Взявшись за ручку, оборачиваюсь:

— А вы уверены в ваших тамошних детективах?

— Нам-то какой смысл вам врать?

Я долго бродил по улицам, как робот, ничего не видя, без единой мысли в голове, зажав под мышкой папку, перечеркнувшую сорок лет моей жизни. Дождь лил все сильнее. Я зашел в «Макдоналдс», купил жареной картошки и взял салфеток, чтобы вытереть папку. Внимательно прочел справки и отчеты. Все было сфабриковано. Не говоря уж об ошибках в записи актов гражданского состояния, умышленных или нет, ничто не совпадает с моими воспоминаниями, а я знаю, что память меня не подводит. Воспоминание может быть иллюзорным, мы порой задним числом по-своему истолковываем факты, фантазируем, но не в том, что касается главных, ключевых моментов нашей жизни и связанных с ними подробностей.

Вот только одно искажение из многих: информатор сообщает, что из двух «больших восьмерок» на Кони-Айленде снесена была «Молния», а «Циклон» в 1991 году объявили историческим памятником. Не знаю, как он ухитрился перепутать, для меня это все равно что утверждать, будто башни Всемирного торгового центра стоят на месте, а разрушен террористами Эмпайр-стейт-билдинг. Я как сейчас все это вижу: очарование опустевшего Кони-Айленда в сумерках, закрытые аттракционы, вокруг желто-красной парашютной вышки кружат чайки, шляется обколота молодежь, русские старики в инвалидных колясках катят к понтону с удочками. Вижу рабочих на страховочных тросах, разбирающих рельсы «Циклона», убитый вид отца в квадрате пластикового газона перед кирпичным домиком: демонтируют не просто аттракцион, а последний отрезок его жизни. Что ему теперь сторожить? Груды металлолома, проданного на вес, за которой однажды приедут грузовики со сталелитейного завода.

Я было подумал, что детектив даже не дал себе труда съездить на место, но следующей в списке неувязок, якобы им обнаруженных, значится средняя школа Джона Дэви. Мой колледж, деревянное здание у песчаных холмов, — у него это, оказывается, какой-то левый склад, окруженный колючей проволокой, между линией воздушного метро и трущобами Южного Бруклина. Откуда эта путаница? Недосмотр или кто-то намеренно лишает меня ориентиров, прошлого, внутренней логики? Он ведь описывает «Рубинштейн & Кляйн», большой универсальный магазин напротив станции «50-я улица» линии W, где я работал два месяца, пока отец не устроил меня в «Натан». В конце концов, мне лучше знать, это моя жизнь! Я, а не он провел все те годы между Кони-Айлендом и бруклинским дном: эти исписанные стены над сточной канавой, прицепы-фургоны, размещенные у домов под коробками кондиционеров, пожарные лестницы, с которых осыпается ржавчина, когда под ними целуешься, — это моя юность! Кто он такой, этот неизвестный, чтобы оспаривать мое прошлое, путая имена, места, даты? И если он делает это намеренно, то зачем?

А моя лаборатория в Йеле, будто бы построенная только в 2001 году? Ну просто нет слов. Мне, значит, приснились все одиннадцать лет, что я паркую мой «Форд» напротив

Старого кампуса и пешком поднимаюсь под кленами Хиллхаус-авеню на холм к зданию с вывеской Environmental Science Center? А прожил я все эти годы, не ведая о том, на лесопилке, женатым на женщине, на которой никогда не женился?

Но один плюс в трех страницах разоблачений все же есть: если моя биография — сплошной вздор и вымысел, то такая же фикция тот, кто обосновался в Париже под моим именем. Пусть утрутся те, кто предпочел поверить *ему*, хотя проблемы это не решает: я доказал, что тот Мартин Харрис — фальшивка, но и сам оказался ненастоящим. По непонятной мне причине самозванцами объявлены мы оба. Вот только в случайности я не верю: чем, если не злым умыслом детектива объяснить, что никто — ни в Йеле, ни в Гринвиче — не опознал меня по фотографии? Вопрос в том, кому понадобилось зачеркнуть мое существование, стереть факты моей жизни, уничтожить меня в глазах всего мира, причем уничтожить в *двух экземплярах*.

Я поднимаю глаза. Вокруг меня молодые люди уписывают «Биг-маки», роняя корнишоны и листья салата, рассеянными взглядами скользя по типу, уткнувшемуся в бумаги над остывающей картошкой. Мне надо освободить мозги от всех воспоминаний, которые теснятся в голове, всплывая в ответ на опровержения, мешают сосредоточиться, путая мои города и годы... Мне надо привести их в порядок и отвечать по пунктам. Я переворачиваю первую страницу и, зажав ручку между большим пальцем и повязкой, начинаю записывать свою жизнь с детства, как я ее помню, все, от мелких деталей до ключевых событий.

Полчаса спустя я исписал оборотные стороны трех страниц отчета. И если я все так же уверен в себе по сути, то по форме возникли кое-какие сомнения. Одна странность сразу бросается в глаза. Я с точностью до мелочей помню какие-то незначачие вещи, зато вдруг оказалось, что целых три года мне нечем заполнить. И это не все. Отрабатывая гонорар по полной, детектив в конце указал дату, которой соответствует сумма государственного долга из моего сна. 2 октября прошлого года. Эту дату назвала сегодня Лиз, когда я спросил ее про шрам. А я не могу вспомнить, что было со мной 2 октября. Пробел.

Может быть, это все последствия комы, избыток глутамата гипертрофировал одни воспоминания в ущерб другим. Или просто что-то забывается от равнодушия и рутины, в которой все мы погрязаем рано или поздно, даже те, кто считает себя защищенным от этого своей страстью. Моя страсть к растениям сохранила мне лишь работоспособность: в плане чувств жизнь у меня не удалась, под внешним благополучием скрывался банальный крах, плачевный итог, который и вправду лучше бы забыть.

Я отталкиваю листки. На душе мерзко. Нет больше ни сил, ни желания нырять в интернет, искать новые доводы, доказывать свою правоту, изобличать ложь... Может, плюнуть, поставить на всем этом крест и начать жизнь заново где-нибудь подальше отсюда... или с чистой совестью броситься в Сену, где мне и следовало бы остаться? Все мне лгут, я никому не нужен, всем мешаю — и я устал бороться.

Среди маячащих вокруг посетителей с подносами, ожидающих, чтобы я освободил место, одно лицо вырисовывается отчетливо, один голос удерживает меня. Один-единственный человек поверил мне, протянул руку без задней мысли, просто проявил доброту. Я спускаюсь к туалетам, снимаю трубку висящего на стене телефона, набираю номер под плач младенца, которому меняют пеленки. Мюриэль отвечает после второго гудка.

— Мартин, наконец-то! Я два часа жду вашего звонка, у меня потрясающая новость!

Я готов порадоваться за нее, но она продолжает:

— Я говорила с вашим ассистентом, я ему все-таки дозвонилась...

— Родни Коулу?

— Он еще и по-французски говорит, я не ожидала! Он просто обалдел, когда узнал, что с вами приключилось. Он тоже не понял, какого черта ваша жена отколола такой номер, но она, оказывается, уже почти год в депрессии. Он классный парень. Сказал: я соберу все доказательства, что Мартин — это Мартин, и немедленно вылетаю. Он будет здесь завтра

утром.

— Пойдите, пойдите, Мюриэль... Вы описали ему, как я выгляжу?

— Конечно! И того паршивца тоже описала. Эй-эй! Не начнете же вы сомневаться в себе теперь, когда мы получили доказательство?

«Мы» отзывается эхом в гуле уличного движения на том конце провода. Я зажмуриваюсь, удерживая слезы.

— Я закончу в четыре, заберу Себастьяна из школы, и встретимся у меня, ладно? Адрес помните?

— Да... Так что Родни?

— Будет завтра в девять утра в отеле «Софителль», Порт-Майо. Ну что, договорились?

Я бормочу слова благодарности, вешаю трубку, прижимаюсь лбом к стене. Я так долго боролся с абсурдом, что теперь, когда жизнь вроде бы подтвердила мою правоту, мне трудно в это поверить. С чего бы Родни, расчетливому карьеристу, умеющему держать нос по ветру и всегда предпочитающему выждать, так напрягаться из-за меня, после того как он даже не опознал меня по фотографии? Впрочем, я что-то не помню, чтобы его имя где-то упоминалось, кроме моего списка.

Я бегу назад по лестнице, хватаю со стола оставленные листки. А детектив-то, оказывается, вообще не называет имен людей, которым показывал мое фото в Йеле. Он пишет: «его коллеги с кафедры ботаники», «декан его факультета»... Да ведь этот идиот пошел в SFES⁷ на Проспект-стрит, к нашим конкурентам, которые оспаривают у нас кредиты на исследования. Понятное дело, они приняли его за журналиста, и никто не захотел делать мне рекламу. Они даже наплели ему, что Научный центр исследований окружающей среды существует всего год, чтобы он раздумал делать репортаж обо мне. Декан, верно, втюхивал ему научные традиции своего факультета, вековую пыль своих архивов, процент успеха своих бластных выпускников, программы своих бездарных преподавателей, а тот, олух, и уши развесил.

Я складываю листки с удовлетворенной улыбкой, воображая, что скажет Мюриэль, когда я покажу ей отчет, этот монумент лжи и некомпетентности, который в конечном счете, пожалуй, даже делает мне честь, наглядно демонстрируя усилия, предпринятые, чтобы меня зачеркнуть. Мне не терпится встретиться с ней, увидеть себя в ее глазах таким, каким она меня видит. Жаль, конечно, она могла бы быть привлекательнее; мне вспоминается молоденькая продавщица из бутика, и желание подкатывает к горлу — да еще все эти школьницы с «Биг-маками», оживленно щебечущие вокруг. Сколько лет самообмана, жестких рамок, обузданных порывов под вязами Старого кампуса, когда точеные фигурки моих студенток и их адресованные мне улыбки подчеркивались готическими фасадами. Сколько искушений я преодолел, чтобы остаться верным своему имиджу образцового профессора. Нет, чем бы ни обернулась для меня нынешняя ситуация, к прежней жизни я возвращаться не хочу.

— Знаешь, когда я поняла, что настоящий — ты? Когда ты рассказывал про гортензии, которые опознали убийцу. И потом, когда тот, другой, говорил о твоём детстве. Он будто урок отвечал, а по твоим глазам я видела, что ты все это заново переживаешь: и как твой отец выстригал Микки-Маусов из кустов, и хот-доги, и «большую восьмерку»... Я так рада, Мартин! Еще джема?

Приятно видеть женщину счастливой. Ее преобразила моя история, роль, которую она в ней сыграла, вера в меня, которую она сохранила наперекор всему и оказалась права. Я не

⁷ School of Forestry and Environmental Studies — Факультет лесоводства и исследований окружающей среды (англ.).

возражаю. Отчет детектива так и остался у меня в кармане. Я смотрю на нее: она стала почти хорошенькой, потому что впервые в жизни кому-то поверила и не ошиблась; морщинки у рта разгладились от улыбки, от воодушевления и от огромных бутербродов, которыми она угощает и меня.

Ее сын озадаченно посматривает на нас. Мы ввалились в кухню и уселись с ним полдничать. Я вдруг почувствовал зверский голод, и мы уже уничтожили целый багет, намазывая его попеременно маслом, мармеладом, паштетом и «Нутеллой». Что ж, какие бы сомнения и тревоги я ни принес в эту квартиру без мужчины на третьем этаже обшарпанной многоэтажки, сегодня я решил быть тем, кого видит во мне Мюриэль.

— Расскажи Себастьяну о своей работе.

Мне нравится это «ты», возникшее спонтанно теперь, когда она во мне уверена. Я рассказываю мальчику, как выращивал помидоры в пустыне, без капли воды, зато под музыку: преобразовал в звуковые частоты квантовый сигнал, испускаемый протеинами, и передавал их через усилители в форме этакое растительного рэпа, действующего как гормон роста. Он таращит круглые глаза над чашкой с остывающим шоколадом. Маленький человечек на границе детства и юношеских прыщей, с черным пушком между бровями и еще совсем детским голосом.

— Я его записываю на магнитофон, — признается Мюриэль со скорбной улыбкой, когда он уходит из кухни к своим компьютерным играм. — Все время записываю его голос, только ему не говорю: хочу сохранить. У всех его одноклассников голос уже поломался, ужас.

— Он славный.

— Очень способный, а учится плохо, в школе ему скучно. Зато в тестах на IQ всегда первый. А результат — в классе его бьют, и он отстает еще больше. Ума не приложу, что с ним делать. Перевести бы в другую школу, так денег нет.

Я серьезно киваю. Мне нравится такая жизнь — конкретная, плотная, замкнутая; смесь мелких житейских драм и повседневного напряжения сил, без перспектив и лживых посулов. Жизнь от одной учебной четверти до другой и от полочки до полочки, одиночество в толпе, километры в замкнутом пространстве и ожидание в аэропортах, пассажиры и порожние ездки. Выкроенные из рабочего графика часы для детей, безысходное самопожертвование, обреченность.

Пришла дочь. Семнадцать лет, долговязая, красивая, без комплексов, отсутствующий вид, но взгляд хороший, открытый. Равнодушная, вежливая. Зовут Морганой. От нее пахнет аммиаком, перманентом, синтетической сиренью. Ученица в парикмахерской. Прислонившись к холодильнику, она выпивает стакан яблочного сока, бросает нам «Чао» и удаляется в свою комнату слушать техно.

Подперев рукой щеку, Мюриэль смотрит, как я ем.

— Вот такая у меня жизнь, — сдержанно комментирует она. — Я их обожаю, а ты меня поразил. Со вчерашнего дня я все думаю, как бы повела себя, если бы пришла однажды домой, а там вместо меня — другая.

— Всегда можно доказать, что ты — это ты, Мюриэль.

— Я пожелаю ей успеха и сделаю ноги, так-то вот!

Она прыскает со смеху, кусает губы, сплевывает, чтобы не сглазить, морщась, допивает чай.

— Жизнь такая, что дух перевести некогда. Наверно, так даже лучше. «Чинзано» будешь?

Мы отставляем чашки, и полдник переходит в аперитив. Она рассказывает мне о своем детстве, о замужестве, о разводе. Ничего особенного, все вполне банально, но то, с каким остервенением она бьется, чтобы справиться самой, ни на кого не полагаясь, лишь бы детям не досталось того, что выпало ей, — бесполезный бой с ветряными мельницами, — возвышает житейские дразги до уровня греческой трагедии.

Время идет, и сынишка заглядывает на кухню поинтересоваться, скоро ли ужин.

Мюриэль отвечает, чтобы взял что-нибудь сам: у мамы сегодня выходной. Я предлагаю повести их в ресторан. На меня смотрят как на марсианина. Появляется Моргана, зажав плечом телефонную трубку, сообщает нам, что будет сегодня ночевать у Виржини. Мать протягивает руку, дочь передает ей телефон и со вздохом удаляется. Мюриэль проверяет алиби, вешает трубку, пожав плечами, делится со мной: все равно девочка уже полгода принимает противозачаточные таблетки, а что не выспится перед работой, так она эту работу все равно терпеть не может.

— Выбери что-нибудь в морозилке, — говорит она сыну, допивая третью порцию «Чинзано».

Я спрашиваю ее, какой голос был у Родни по телефону.

— Обыкновенный. Знаешь, он к тебе очень хорошо относится. Раз двадцать переспросил, как ты там, держишься ли и как поступишь с женой...

— Ты дозвонилась ему по мобильному?

— По тому номеру, что остался в памяти. Так как ты поступишь с женой? С людьми, которые устроили тебе эту подлянку?

— Не знаю.

— Но все-таки...

Фраза недоговоренной падает в стакан. Мюриэль уже немного пьяна, эйфория пошла на убыль, моя история отодвинута на второй план, снова засасывает повседневность, из которой ей больше не выбраться, когда все уладится со мной. Завтра я получу доказательства своего существования и пойду своей дорогой, а с ней не случится больше ничего нового... Я все читаю на ее лице, между неровно подстриженными прядями, выбивающимися из-под заколок. Я ворвался в ее жизнь порывом ветра — ветра безумия, ветра абсурда, — а теперь все вернется на круги своя, станет даже хуже, чем было.

Она тянется к бутылке, задевает стакан. Я не успеваю отскочить. Она извиняется, показывает, где ванная, роняет голову на руки.

Я тактично ретируюсь. Моргана красится в ванной перед аптечным шкафчиком, говорит мне «Входите», мол, не мешаете. Открыв кран, я замываю пятна на пиджаке. Девочка смотрит на мою правую руку, замотанную обтрепанным пластырем.

— Болит?

— Ничего, проходит.

Подводя глаз карандашом, она советует сделать компресс из хлебного мякиша с крупной солью.

— Мой папаша живет теперь с женщиной, у нее своя конюшня. Когда я приезжала к ним, все время падала с лошади. Крупная соль классно помогает от ушибов.

Я благодарю.

— А вы давно знаете маму?

Мюриэль могла ведь и скрыть от детей нашу аварию. Я отвечаю «да». И ведь правда, я вполне мог познакомиться с ней лет в двадцать, прожить похожую жизнь, обзавестись такой же семьей... Мы начинали во многом похоже.

— Вы, по-моему, хорошо на нее действуете.

Она принимается за второй глаз и интересуется, мы только друзья или... Я киваю: «Друзья», оттирая пятно мылом. В комнате звонит телефон.

— Знаете, она потрясная женщина. Папаша ее круто поломал: после него у нее никого не было, только мы. Меня грузит, что она одна.

Я сосредоточенно изучаю расплывающиеся на ткани разводы. Моргана откладывает карандаш, берет с полочки губную помаду.

— Она вам не нравится?

Я выдерживаю взгляд вскинутых на мое молчание глаз. В них укор и неподдельное восхищение матерью, которую она, надо думать, ненавидела, пока не поняла.

— Да нет, нравится, но...

Она поджимает губки, не комментируя повисшую фразу. Потом, вздохнув, стягивает

через голову футболку, расстегивает джинсы. Идет полуголая к степному шкафу, достает платье и надевает его, стоя ко мне спиной.

— Желаю вам хорошо провести вечер, — улыбается она, обернувшись в дверях.

А я так и стою как пень посреди ванной, потрясенный ее жестом, этой смесью грубости и чуткости: надо же было додуматься возбудить меня своей наготой, чтобы я захотел ее мать.

— Мартин!

Это Мюриэль зовет меня под хлопок входной двери. Я иду в гостиную. Она стоит у книжного шкафа и говорит по телефону.

— Сейчас я ему скажу, спасибо. Поцелуй Жинетту, отдыхайте. Это Робер звонил, — объясняет она, повесив трубку. — Приятель-таксист, тот, что одолжил мне машину. Он уезжал в отпуск, только что вернулся. Ну вот, он звонил в полицию: они нашли грузовик, который сбросил нас в Сену. На какой-то свалке в Эр-и-Луаре. И знаешь что? Он в угоне!

Она рада: надеется, что это поможет ей решить проблемы со страховкой и правами, нарушение нарушением, но грузовик-то был угнанный. Я воздерживаюсь от комментариев. Молча рассматриваю потрепанные старые книги на полках. Что-то шевельнулось в моей памяти, и я пытаюсь понять, что именно, — то ли жаль чего-то, то ли чего-то не хватает... Почему сейчас? Я не знаю, связано ли это с тем, что сказала Мюриэль, или с запахом подвала и отсыревшей кожи, которым пропитана ее библиотека.

— Родительское наследство, — говорит она, перехватив мой взгляд. — Полная история религий на земле, с тех пор как люди выдумали Бога на свою голову. Скопище пыли и всякой заразы, но рука не поднимается их выбросить. Родители так ими дорожили... Дерьмовая штука память. — Откупорив бутылку белого вина, она продолжает: — Когда ты очнулся в больнице, я думала, у тебя будет амнезия, и завидовала: вот повезло.

Себастьян принес рыбное филе в размякшей панировке с давленными помидорами. Мы едим за низким столиком и смотрим по телевизору новости. Наводнения, мирные переговоры, теракты, футбол, загрязнение моря нефтью, официальный визит президента США, проблемы английской королевы. Мюриэль ругает пробки, перечисляет бедствия месяца: три визита на высшем уровне, двенадцать демонстраций, закрытые для проезда набережные... По Парижу вообще стало невозможно ездить. Вдобавок мэр распорядился бетонными ограждениями отделить на проезжей части зону для автобусов, теперь такси с нее не съехать, когда его запирают грузовики... Я ем, слушаю вполуха, киваю невпопад.

— О чем ты размышляешь, Мартин? Что-нибудь не так?

— Нет, я просто подумал: а почему мы ехали через Сену? Я начинаю немного ориентироваться в Париже, и... Кажется, это не самый прямой путь.

Она вдруг напряглась и сверлит меня взглядом, хмуря брови. Я делаю вид, будто забыл, о чем говорил, сосредоточившись на прогнозе погоды. Еще решит, чего доброго, что я ее обвиняю: таксисты ведь, бывает, делают крюк, чтобы побольше содрать с пассажира.

— Что значит «не самый прямой путь»?

— Да ничего... От моего дома в аэропорт Шарля де Голля через Сену...

— От твоего дома? На улице Дюрас? Но я тебя не там посадила!

— А где же?

Мюриэль хватается со стола пульт, убавляет звук.

— В Курбева⁸.

— Где-где?

— В Курбева, — повторяет она как нечто само собой разумеющееся. — На бульваре Сен-Дени.

Меня точно обухом по голове ударили.

— А что я там делал?

Она разводит руками: тебе лучше знать. Я пытаюсь вспомнить, но безуспешно.

⁸ Городок в северо-восточном пригороде Парижа.

— Ты уверена?

Она кивает, явно расслабившись, спрашивает, первый ли это у меня провал в памяти. Я ничего не понимаю.

— Посмотрим М6, — решает между тем ее сын, забирая пульт.

Он переключает канал, прибавляет звук. Мюриэль напоминает, что ему завтра к восьми в школу. Он усаживается между нами на желтом диване, и мы смотрим на ораву девушек, которые учатся петь и поносят друг друга перед камерой, потому что каждая хочет устранить соперниц и стать звездой, а для этого нужны голоса телезрителей. Мальчишка заворуженно взирает на эти страсти, болеет за мужеподобную арабку и называет остальных «лахудрами». Когда выносится вердикт и его кандидатка в слезах выбывает большинством голосов, он швыряет пульт и уходит из гостиной. Мы остаемся с Мюриэль вдвоем, между нами пустая подушка. Всю передачу я прокручивал в голове цепь событий: вот мы с Лиз приезжаем на улицу Дюрас, вот мне делают перевязку в аптеке, вот я встречаюсь с Лиз у «Франс Телеком», мы садимся с чемоданами в кафе, я обнаруживаю отсутствие ноутбука, бегу за такси Мюриэль, кричу, прошу остановиться... Зрительно я и правда не припоминаю пейзаж, но как меня занесло в Курбева?

— Ты не мог бы пойти рассказать ему сказку на ночь?

Я удивленно смотрю на Мюриэль.

— Да, он уже вырос, знаю, но... С тех пор как нет отца, ему никто... Ладно проехали. — Она машет рукой и переключает канал. — Уже поздно.

Я встаю, положив руку ей на плечо, чтобы не удерживала меня. Себастьян лежит в кровати на животе, задрав ноги и уткнувшись в комиксы. Стены заклеены постерами с монстрами и футболистами. Он предлагает мне присесть и посмотреть книги: я ему не помешаю. Я подхожу к маленькому аквариуму на этажерке: две облезлые рыбки, три камешка на дне, колышущиеся водоросли.

— Смотри-ка, у тебя тут ахлии.

Подняв на меня один глаз, он спрашивает, что это.

— Двуполоая водоросль. Она окрашивает рыбок в изумительные цвета, когда размножается.

— Значит, это не она. Видишь, что с ними происходит?

— Это потому, что стебельки не соприкасаются. У ахлии половая зрелость наступает только при контакте с противоположным полом. А у тебя они застрянут на всю жизнь в детстве, если ты им не поможешь.

Погрузив пальцы в грязную воду, я сдвигаю камешки так, чтобы бледно-зеленые травинки соприкоснулись. Мальчик даже с кровати встал и с любопытством слушает, тарашась на аквариум.

— Врозь они себя не осознают. Зато потом могут меняться, становятся самцом или самкой, смотря кого привлекают...

— Они что, гомики, мои водоросли?

— Транссексуалы. Их преимущество перед людьми в том, что они могут менять пол столько раз, сколько пожелают. В зависимости от того, в кого влюбятся.

— А я думал, они вообще неживые.

— Они просто ждали, чтобы ты проявил к ним интерес.

Мюриэль, стоя в дверях, смотрит на нас у аквариума. В глазах у нее блестят слезы. Себастьян оборачивается. Она тут же исчезает. Он ложится в кровать и спрашивает, как я решил стать ботаником.

— Голубые листья.

— Чего?

Мы оба вздрогнули одновременно. Не знаю, почему у меня вырвались эти слова, с чем они связаны. Голубых листьев в природе не существует. Разве что у некоторых пород хвойных деревьев, но это не листья, а иглы.

— Когда тебе было столько лет, сколько мне, ты уже знал, кем хочешь стать? —

допытывается Себастьян.

— Да. Кажется, знал.

— Везет тебе. Я вот не знаю. Да все равно меня никуда не примут, — утешает он сам себя.

Я улыбаюсь — с пониманием, с сочувствием, — подхожу к кровати, медленно. Откуда мне знать, целуют ли на ночь мальчишек в этом возрасте. Он протягивает мне руку, я пожимаю ее и выхожу, повторяя про себя два слова. Голубые листья... Плавные звуки рождают неясные образы, голоса, какие-то перепутанные обрывки воспоминаний...

Мюриэль я нахожу в гостиной. Она сидит на полу перед выключенным телевизором.

— Ему, кажется, понравилось. Не знаю, что ты там рассказывал...

— Да так, всякую ерунду — важен ведь результат. Водоросли в его аквариуме — просто плесень, но для него они теперь будут влюбленными.

Моя откровенность коробит ее. Или моя деликатность?

— Для меня стараешься или ты всегда такой?

Я отвечаю неопределенным вздохом.

— У тебя никогда не было детей?

— Нет.

Она встает, говорит, что я был бы хорошим отцом, и смотрит на часы.

— Тебе есть где ночевать?

— Нет.

— Диван устроит?

— Спасибо.

Мюриэль уходит в свою комнату, возвращается с подушкой и одеялом. Я не двинулся с места.

— Что не так, Мартин?

— Не знаю. Вопросы преодолевают.

— Меня тоже.

Мы смотрим друг на друга растерянно. Она кладет подушку на диван, расстилает одеяло. Подходит ко мне. Я обнимаю ее, и мы делаем попытку забыть обо всем на свете.

Лиз целует его, тихонько отстраняет. Под бегущей строкой светящихся цифр едва заметно шевелит пальчиками поднятой руки — в знак прощания и обещания новой встречи. Она удаляется. Он, поправив очки, собирается открыть дверцу стоящего у тротуара лимузина. Его голова разлетается на куски. Он падает навзничь.

Я просыпаюсь, ошалело моргаю, озираюсь вокруг. Я в комнате с лиловыми обоями, сквозь штору пробивается солнечный луч. Где-то рядом слышны голоса.

Я натягиваю на себя одеяло, от которого пахнет любовью и кондиционером для белья. Переворачиваюсь на живот, утыкаюсь в согнутую руку, прячась от шумов, улыбаюсь в подушку. Этой ночью между нами были страсть и нежность, так бурно и вместе с тем так просто... Мы вели себя как подростки, сдерживающие стоны наслаждения, чтобы не услышали родители. Ничего общего с тем, что я знал раньше, а между тем я не изменился: что-то выправилось во мне, встало на место после долгих лет жизни наперекосок. Мне нравилось заниматься любовью с Лиз, потому что она становилась другой в постели: свою холодность, обиды и комплексы сбрасывала, как платье, и слушала только свое тело. Она забывалась в любви. Мюриэль же, отдаваясь, обретает себя. Я увидел ее беспечной, игривой и нежной — такой она была бы всегда, да только жизнь не дает ей продыха. Это раненая женщина, которая любовью исцеляется, а не балованное дитя, ломающее игрушки и себя заодно. Всего на какую-то неделю я вырван из обыденной жизни — и уже ничего не узнаю: мне совершенно чужды мои предпочтения, мотивации и компромиссы. Я женился на женщине, с которой не мог ужиться по определению, положившись на ночи, когда друг друга понимали наши тела; преодоление дистанции, разделявшей нас в остальное время, я принимал за истинный путь любви. А ведь насколько легче просто любить кого-то близкого.

Впрочем, я не знаю, кого увижу сегодня утром, какая Мюриэль ждет меня за стеной. Быть может, наступившее завтра повергнет ее в такую же печаль, как и возвращение в обыденность после двух суток абсурда. Я понятия не имею, притворимся мы друг перед другом или просто замнем тему, решим, что эта ночь была ошибкой или что нам хочется еще. Утро после первого раза тоже всегда и у всех бывает впервые.

Я одеваюсь, собрав раскиданные по всем углам вещи, и выхожу к Мюриэль. Она в кухне, сидит за столом с каким-то стариком в зеленой куртке, он оборачивается и тепло улыбается мне.

— Я Робер, — представляется он. — Очень рад. Извините, что разбудил: мне понадобилась машина для постоянной клиентки. Каждые полгода я отвожу ее в санаторий в Туке, вот уже семнадцать лет...

— Себастьян, без двадцати пяти! — кричит Мюриэль.

Она заполняет на столе какой-то бланк, расписывается и вручает его коллеге, а мне говорит, что теперь скрепя сердце тоже вольется в ряды G7⁹, если, конечно, ей оставят права и внесут в списки.

— Форменное безумие — оставаться независимой, — подхватывает Робер, призывая меня в свидетели.

Я согласно киваю, сажусь. Итак, утром жизнь взяла свое, нежная и неистовая женщина минувшей ночи вернулась к своим обычным занятиям. Она наливает мне кофе, спрашивает, как спалось. Нейтральным тоном отвечаю «Хорошо».

— Я могу раздобыть тебе машину на завтра. Антонио не выйдет, слег с гриппом.

— У него не тачка, а рухлядь.

— Кто бы говорил, — улыбается Робер, споласкивая руки под краном. — Ну ладно, я пошел, счастливо.

Они целуются на прощание. В кухню заглядывает Себастьян с сумкой на плече, спрашивает, буду ли я здесь сегодня вечером.

— Без четверти! — грозно напоминает ему мать.

— Подвезти тебя до школы, Себ?

— Не, не надо, меня ребята ждут. Пока.

Хлопает входная дверь. Звонит телефон. Мюриэль снимает трубку, потом спрашивает Робера, который застегивает куртку:

— Восемь пятнадцать, Батиньоля, на Аустерлицкий вокзал, возьмешь?

— Идет.

Она записывает адрес на краешке стола.

— Я рад за нее, — говорит Робер, глядя мне в глаза и крепко пожимая руку.

Он не заметил повязку, и, преодолев боль, я дружелюбно улыбаюсь. Мюриэль отдает ему бумажку с адресом и ключи от машины. Он прячет в карман заполненный ею бланк и обещает «нажать на все кнопки».

Едва за ним закрывается дверь, как Мюриэль кошкой прыгает на меня, обнимает, обцеловывает, царапает шею, отстраняется, чтобы посмотреть мне в лицо.

— Тебе понравилось? — вдруг спрашивает она встревоженно, но не дает мне времени ответить, тащит в спальню, на ходу расстегивая мою рубашку и плутовато улыбаясь.

— Встреча у тебя через час, отсюда на электричке до Порт-Майо минут десять. У нас есть целых сорок пять минут, если не потеряем голову...

Опрокинув меня на кровать, она стягивает спортивные брючки и ложится сверху.

— В постели ты совсем другой человек, — шепчет она, щекоча мне ухо.

Ее язычок спускается по моей груди, ниже, ниже, пальцы неспешно расстегивают ремень. И вдруг раздается взрыв.

Метнувшись к окну, Мюриэль отдергивает штору.

⁹ Крупнейшая парижская таксомоторная компания.

— Робер! — истошно кричит она.
Перед домом напротив пылает машина.

Он сидит в кресле, загородившись газетой, но мгновенно вскакивает, увидев меня.

— Все в порядке, Мартин: я привез все необходимые доказательства!

Осекшись, он с тревогой смотрит на меня.

— Что случилось?

Я всматриваюсь в его лицо, пытаюсь понять, что им движет: вдруг он все же ведет двойную игру? Но нет: душа нараспашку, бездна энергии, искреннее волнение — бойскаут да и только. Юношеский взгляд, лоб с залысинами, рука на моем плече.

— Ладно, сейчас все расскажете.

Я сажусь, он тоже опускается в кресло, сидит, подавшись вперед, лоб нахмурил из-за моих проблем. Я так ждал этой минуты, так хотел, чтобы меня узнал кто-нибудь из близких. И все же что-то мешает мне довериться этому человеку. Мы с ним почти ровесники, он добр и услужлив, отчего же это кажется мне сейчас до безобразия показным? Сколько лет он обхаживал декана, метя на мое место, — и вдруг примчался таким спасителем, готовый свидетельствовать, да еще с вещественными доказательствами. Я ищу глазами: ни чемодана, ни сумки не видно.

— Я взял напрокат машину в аэропорту, — предвосхищает он мой вопрос. — Заехал к другу принять душ и оставил документы, для пушей сохранности.

К нам тем временем подошел бармен и терпеливо ждет, чтобы принять заказ. Родни спрашивает его властным тоном, которого я за ним не помню.

— Так что же, — продолжает он, — Элизабет и в самом деле отрицает, что вы ее муж? И как вы это объясняете?

— Я поговорил с ней с глазу на глаз вчера утром. Тот тип, что выдает себя за меня, заставляет ее лгать шантажом, или она с ним в сговоре, не знаю...

— Мадам Караде мне об этом не говорила.

— Я не все сказал мадам Караде. Да и то, кажется, сказал слишком много: ее машину только что взорвали.

Он вздрагивает, приоткрыв от изумления рот.

— Кто-то хочет нас убрать, Родни.

— Когда это случилось?

— Час назад.

— Она жива?

Я киваю. Мюриэль сразу помчалась за сыном в школу и за дочерью в парикмахерский салон; сейчас они в безопасности у ее подруги, и я запретил ей пользоваться мобильным телефоном.

— В голове не укладывается, что в «Монсанто» могли так на вас ополчиться! — не верит Родни.

Судя по всему, Мюриэль выложила ему все.

— Родни... кто-нибудь знает, что вы в Париже?

— Один человек знает, — кивает он, потупившись.

— Кто?

— Мой друг, у которого я остановился.

— Вы за него ручаетесь?

Неопределенный жест, поджатые губы. Родни холостяк, живет, насколько я знаю, один, но я никогда не интересовался его личной жизнью.

— Вы говорили ему о том, что со мной случилось?

— Нет... Я сказал, что приехал помочь начальнику, мол, у него неприятности, и все.

— Я больше не существую, Родни. Они уничтожили все упоминания обо мне в актах

гражданского состояния. Стерли моих родителей, мою женитьбу, Мартин Харрис из Йельского университета будто бы умер три года назад, а мой номер страховки принадлежит электрику из Канзаса.

— Черт знает что!

— Или это детектив, которого я нанял... Они могли заплатить ему, чтобы он впарил мне все это.

— Поехали, — решительно говорит Родни, вставая.

У «Софителя» металлическое ограждение: стоянка запрещена. На авеню Терн через каждые двадцать метров стоит охрана в форме с красной полосой на груди: ждут правительственный кортеж.

— Президент прилетает в три часа, — говорит мне Родни, когда мы переходим улицу. — Видели бы вы, что творится в аэропорту... Всю полицию подняли на ноги.

Подразумевается: моя личная проблема очень некстати. Я это понял уже в Клиши, по раздраженному нетерпению полицейских у останков такси. Подумаешь, подожгли машину в беспокойном пригороде, других дел у них нет! Я не возразил против их заключения — «коктейль Молотова», мне было не с руки ехать с ними на допрос: намекни я на взрывное устройство, сработавшее от запуска двигателя, этого было бы не миновать.

Я иду, отстав от Родни на три шага; мы сворачиваем на узкую улочку, перпендикулярную бульварному кольцу. Я то и дело оборачиваюсь, всматриваюсь в прохожих, с подозрением кошусь на ниши в стенах, подворотни, машины. Он открывает передо мной дверцу машины. Сам садится за руль, трогается с места. Мы едем в сторону пригорода между двумя рядами фонарей, украшенных перекрещенными флагами. Он украдкой поглядывает на меня в зеркальце заднего вида. Не похоже, чтобы у него были сомнения насчет меня, скорее, он пытается понять, не подозреваю ли я чего.

— Я восхищаюсь вами, Мартин, — объявляет он, въезжая на мост.

— Восхищаетесь? Чем?

— Вашим хладнокровием. Мадам Караде рассказала мне про аварию и про кому... А вы совершенно такой же, как прежде.

— Правда?

Я не строю иллюзий, это откровенная лесть, и все же его слова меня трогают, тем более что он ошибается. У меня больше нет ничего общего с тем бирюком, что прятался от жизни за деревьями и скрывал человеческие разочарования под растительными страстями. Но я слишком настрадался от чужих глаз, чтобы перестать притворяться.

— Что в точности вы сказали в полиции, Мартин?

— Сказал, кто я. Но тот тип пришел с паспортом на мое имя, и мою жалобу стерли. Придется все начинать сначала, плюс еще покушения. А что у нас есть, какие доказательства, что я — это я?

— Статьи о вас, кассета с записью вашего интервью на Си-Би-Эс, ваша карточка с парковки в Йеле, почетный диплом университета Бамако, налоговые декларации, телефонные счета, квитанции, фотография родителей... Все, что я нашел у вас в кабинете.

Я хмурю брови.

— Фотография родителей?

— Да, и ваши с Лиз тоже.

Я киваю, в очередной раз проверяя в зеркальце на противосолнечном щитке, не едет ли кто за нами. Я что-то не припомню, чтобы держал в своем кабинете семейные фотографии. Он, судя по всему, основательно все перерыл.

— Скоро приедем.

Он свернул с оживленного шоссе и едет теперь по жилому кварталу, где стройки перемежаются со старыми каменными особняками, более или менее обветшалыми. Этот пейзаж мне смутно знаком, какое-то воспоминание шевельнулось, но никак не может оформиться: я не знаю, ни откуда оно взялось, ни с чем связано. Моя память как будто работает вхолостую. Или натывается на невидимое препятствие.

— Мы с вами давно знакомы. Родни?

— Очень давно, — улыбается он.

Я предпочел бы более точный ответ, но он, похоже, деликатно обходит провалы в моей памяти — в то время как я проверяю его собственную. Что-то в нем есть *ненастоящее*, не могу понять, что. То же ощущение было у меня с Лиз вчера утром. А ведь я его знаю как облупленного... Почему же срабатывает рефлекс самозащиты, с чего вдруг это попятное движение?

— Вы были в посольстве?

Я отвечаю, что меня оттуда вывели.

— А что ваш коллега из НИАИ? Вы с ним больше не связывались?

— Нет. Он верит тому, другому.

Краем глаза я наблюдаю за его реакцией. Похоже на облегчение. Но, может, это показной оптимизм, желание подбодрить меня. Машина выезжает на круглую площадь, сворачивает налево, еще метров сто по переулку, полого уходящему вниз...

— Приехали, — говорит Родни и нажимает кнопку на пульте дистанционного управления.

Мы въезжаем в ворота, обвитые пожелтевшей глицинией. Мне бросается в глаза потрескавшийся каменный столбик с названием виллы: «Голубые листья». Ударная волна раскатывается в моей голове, это как прорыв плотины в замедленной съемке: картинка складывается воедино, цельная и ясная. Зажмурившись, я откидываюсь на подголовник, жду, чтобы все встало на свои места.

— Вам нехорошо, Мартин?

— Ничего, ничего. Слегка укачало, сейчас пройдет.

Он молчит. Я открываю глаза, узнаю посыпанную гравием аллею под липами, крыльцо с застекленной верандой, перед которым останавливается машина, мотоцикл, привязанный к стволу ивы.

— Странное название — «Голубые листья», — говорю я, непринужденно улыбаясь, как человек, попавший сюда впервые. — Откуда оно?

— Не знаю. Вероятно, раньше здесь жил писатель.

Воздух неподвижен, шумы приглушены, соседей не видно за гигантскими туями, погружающими запущенный сад в сумрак. Опавшая листва шуршит под ногами. Я поднимаюсь вслед за ним по шести ступенькам крыльца — не так давно я бежал по ним вниз, позабыв дышать. Узнаю скрип двери, осевшей на петлях и шаркающей по плитам пола, звяканье матового стекла о железные прутья. Пахнет сыростью и электрообогревателем. Потрескивание радиаторов сквозь тиканье стальных часов.

Молодой парень в халате возится на кухне с кофеваркой. Родни знакомит нас:

— Паскаль, мой парижский друг. Профессор Мартин Харрис.

Мы здороваемся: очень приятно. Этот самый парень позавчера попросил у меня прикурить возле полицейского участка.

— Кофе, профессор?

— Спасибо, с удовольствием.

— Вы пьете крепкий?

— Да.

По радио комментируют теннисный матч. Паскаль наливает чашку, протягивает ее мне, объясняет, что сам пьет гораздо слабее.

— Если проголодались, прошу вас, — добавляет он, кивая на стол с начатым завтраком.

— Простите, я на минутку, — извиняется Родни Коул.

Он выходит в коридор, открывает дверь под лестницей. Я беру гренок, намазываю его маслом, жду, когда спустят воду, а дождавшись, приближаюсь сзади к Паскалю, который засыпает кофе в фильтр, и с восклицанием: «Как же хорошо окунуться наконец в атмосферу доверия!» — перерезаю ему горло. Продолжая говорить, рукой зажимаю ему рот, заглушая

крик, усаживаю на стул у стены, подпираю дверцей холодильника. Комментатор под гром аплодисментов публики приветствует великолепный розыгрыш мяча. Я вытираю нож, прячу его под пиджак, беру чашку и покидаю кухню в тот самый момент, когда Родни выходит из туалета. Останавливаюсь в дверях. Оттуда, где он стоит, ему не виден угол с холодильником. Весь в напряжении, натужно улыбаясь, он приглашает меня подняться наверх — посмотреть собранное им досье.

Я иду следом за ним по лестнице с чашкой в руке и вспоминаю, как удираю отсюда восемь дней назад. Как бежал через сад, потом по улицам Курбевуа, вскочил в такси Мюриэль на проспекте... Все детали всплывают в памяти с фотографической точностью.

Родни Коул открывает дверь в комнату, заставленную какими-то коробками, и указывает мне на неопрятного толстяка, который сидит за столом в клубах сигарного дыма.

— Вы знакомы с доктором Нетски?

Я отвечаю «нет» и кивком головы приветствую русского перебежчика, три недели трудившегося надо мной в центре психологической обработки. Он был большой шишкой в КГБ и продался с торгов в 1992-м. На него зарился Пекин, но достался он Вашингтону.

— Уму непостижимо... — бормочет гэбист, вставая.

Он застегивает тесноватый пиджак, подходит ко мне. Мой спутник между тем достает из кармана «Маузер» и приставляет ствол с глушителем к моему виску. Я старательно изображаю ошеломление:

— Вы что, Родни, какая муха вас укусила?

Он ухмыляется. В его карьере не все шло гладко, и это всегда было связано с гипертрофированным эго: ему свойственно недооценивать противника.

— Сядь, Мартин. Впрочем, я тебя удивлю: твое имя не Мартин. А меня зовут Ральф Ченнинг. Тебе это ничего не говорит?

Я изумленно тарашу глаза: пусть насладится произведенным эффектом. Ральф всегда брал псевдонимы со своими инициалами¹⁰ — гордыня неистребима... Он толкает меня в кресло — рука у него тяжелая.

— Аккуратней! — вмешивается Нетски.

— Ладно, ладно, не сломаю я ваше творение, — фыркает Ральф и усаживается верхом на стул напротив. — Валяйте, приступайте.

Вполглаза, держа меня под прицелом, он косится на обработчика, который откладывает сигару, подходит и, устремив взгляд в мои зрачки, медленно, нараспев произносит:

— Вы расслабляетесь. На счет «четыре» вы полностью расслабитесь. Раз: вы ни о чем не думаете, вы доверились мне... На счет «восемь» вы проснетесь...

Я дергаюсь, спрашиваю, какого черта, что это за цирк.

— Два: вы полностью становитесь самим собой, и ничто вас не тревожит... Порог вашего сознания отступает и смещается, повинуюсь моему голосу. Три.

Он продолжает считать, и я больше не протестую. Сажу с остановившимся взглядом и отвисшей губой — идеальный гипервосприимчивый объект, к каким он привык.

— Теперь вы полностью расслаблены, все напряжение ушло, сейчас на счет «семь» я скажу вам, кто вы, а вы ответите мне, правда ли это... Семь. Вы Мартин Харрис, ботаник, супруг Элизабет Лакарьер.

— Да.

Я произнес это, не отводя глаз, устремив неподвижный взгляд куда-то между его бровей.

— Уму непостижимо, — повторяет Нетски.

— Есть вероятность, что он симулирует?

— С какой стати? Если он сбежал отсюда, испугавшись, что его убьют, зачем бы снова сам полез к волку в пасть?

¹⁰ Rodney Cole и Ralph Channing.

— Так *что же* с ним произошло? — нетерпеливо рявкает Родни.

— Побочный эффект комы. Внедренная память вытеснила подлинную.

Русский щелкает пальцами перед моим носом:

— Восемь!

Он берет сигару и, сунув ее в рот, с гордостью рассматривает меня.

— А если я вам скажу, — продолжает он, выдержав минутную паузу и только что не облизываясь от удовольствия, — что вы целиком и полностью вымышленный персонаж?

Я протестую так же искренне, как и все последние три дня, с той лишь разницей, что теперь моя искренность внушает доверие: я ее контролирую.

— И я это знаю лучше, чем кто-либо другой, потому что сам вас создал.

— Он запихал в твою башку пособие по садоводству, брошюру Диснейуорлда и справочник Йельского университета. Усек?

— Все немного сложнее, — уточняет обработчик. — Я запрограммировал личность Мартина Харриса, заложил биографию, основы характера и сведения по ботанике, чтобы вы могли сойти за специалиста...

— Стивен Лутц — тебе это что-нибудь говорит?

Я машинально качаю головой и ни о чем не спрашиваю.

— Это ты.

Мое ошарашенное молчание раздражает его, ему не терпится действовать.

— Но что поразительно, — вмешивается Нетски, пристально глядя мне в глаза, — ваше сознание, так сказать, нарастило мясо на мой костяк. Все эти воспоминания — вы придумали их сами... Когда Сабрина мне пересказала...

— Лиз, твоя жена, — поясняет Ральф. — Она же Сабрина Уэллс, твоя напарница по всем заданиям последние пять лет. Опять не вспомнил?

Я убито молчу, словно не могу поверить. Шрам у нее на лбу — от осколка очков, когда я 2 октября одним выстрелом разнес голову сенатора Джексона из окна отеля над экраном с государственным долгом. Почему мое подсознание до такой степени преобразило этот эпизод?

— ...Когда Сабрина пересказала мне ваш разговор в метро, — продолжает Нетски, — интимные подробности, которых я в вас не закладывал, целые сцены, которые вы живописали, напоминая ей о несуществующей семейной жизни... я был просто потрясен. Потрясен способностью человеческого мозга выстраивать целый мир, причем вполне логичный, вокруг инородного тела, внедренного в память.

— Ну что, и это не прояснило тебе мозги? — шипит Ральф.

Я опять качаю головой, будто лишился от потрясения дара речи.

— Я помогу тебе, старина: ты состоишь в пятнадцатом отделе.

Я повторяю число, морща лоб. А мой непосредственный начальник обращает ледяной взор на русского, который продолжает говорить, возбуждаясь все сильнее:

— Только однажды я столкнулся с чем-то подобным, что было выше моего понимания, — когда ставил в Ленинградском университете опыты по активной идентификации: под гипнозом заставлял студентов художественного училища с самыми средними способностями отождествлять себя с Микеланджело. Пребывая в трансе, они рисовали в его манере, но я обнаружил, что заложенный таким образом творческий потенциал развивался у них в нормальном состоянии. То есть они становились талантливее, работая уже в собственной стилистике...

— Что такое пятнадцатый отдел?

— Твоя семья, Стив. Секретная служба — настолько секретная, что даже сам президент не знает о ее существовании. Ради его же собственной безопасности. Чтобы он мог оставаться в стороне от нашей грязной работы. Умора, правда? Что-то ты не смеешься. Ну конечно, ты не можешь оценить всю иронию...

Лично я не вижу тут ничего нового. Главы государств то и дело погибают от рук собственных секретных служб. На этот раз обвинят фанатиков-антиглобалистов, которых во

Франции пруд пруди, повесили же убийство сенатора Джексона на мафию.

— Это значит, Стивен, — не унимается русский, — что уверенная рука и видение мира, которые обрели эти студенты под гипнотическим влиянием гения живописи, отпечатались на их собственной личности после выхода из транса! То же самое случилось с вами, но на таком уровне, какого я никогда и не помышлял достичь...

— Да плевать нам на это, — перебивает его Ральф.

— Вам — возможно. А я не только фабрикую прикрытие вашим машинам для убийства — благодаря мне человек смог полностью изменить свой внутренний мир!

— Идите выпейте кофе, Нетски.

Нет, он не хочет кофе, он хочет во что бы то ни стало понять, как простое пополнение банка данных памяти могло, без какого-либо вмешательства извне, породить виртуальную самостоятельную личность... Хлоп! Он падает ничком с дыркой в голове.

— Заколебали эти умники. Хрен с ним, с пониманием, Стивен, надо убрать за собой, это дело не терпит отлагательств.

Я начинаю мелко и очень убедительно дрожать, пока он излагает программу: вилла сгорит вместе с нашими трупами, Паскаль займется моей подружкой-таксисткой, и к завтрашнему утру все будет в порядке.

— Так что молись, старина, если веришь в Бога своим умишком Мартина Харриса.

Я жалобно скулю: «За что? Почему?», а он уже взводит курок.

— Если бы ты знал, какой ты везунчик, Стивен... И сколько головной боли ты нам доставил после того, как тебя сняли с задания.

— Какого задания?

Он вздыхает и обводит дулом контуры моего лица.

— Ты повредил руку, тебя спрятали здесь и готовили на замену другого снайпера, ты струхнул и смылся, тебя догнали на грузовике, столкнули в Сену... Думали, ты утонул, не вышло, ладно, вроде ты в коме и не опасен... И вдруг ты являешься в квартиру, как к себе домой, скандалишь, будоражишь соседей... Ликвидировать тебя сразу было невозможно. Дальше — больше: ты суешься в полицию, в посольство, нанимаешь частного детектива, всеми средствами пытаешься разоблачить того, кто занял твое место... Конечно, он выглядел не так достоверно: у Нетски было всего шесть дней...

Севшим голосом я спрашиваю, к чему все это.

— Что к чему? Состряпали ботаника? Эта идея пришла тебе в голову, когда ты нашел в интернете объявление о сдаче квартиры. Окно-то выходит прямо на Елисейский дворец, так что жильцы у спецслужб под колпаком. Да еще надо было понравиться хозяину. Вот мы на этом и сыграли: счастливый случай подарил ему в лице квартиросъемщика коллегу, способного доказать его теории.

Я мотаю головой, как нокаутированный боксер, я сломлен, раздавлен крушением всего, что считал своей жизнью. Тупо повторяю, что я — Мартин Харрис. Ральф смотрит на меня, безразлично морщась.

— Какая все-таки пакость этот гипноз, — говорит он и засовывает дуло мне в рот.

Солнце встает над банановыми деревьями. Малыш открывает зонтики, тащит на песок матрасы, раскладывает их в ряд, ложится, проверяя. Его сестра скачет верхом по берегу лагуны. Он кричит ей, чтобы каталась в другом месте: он только что вычистил пляж. Их мать открывает киоск с напитками, игрушечную хижину из палисандра с ветиверовой кровлей. Я наблюдаю за ними сверху. Они постепенно успокаиваются, мало-помалу забывается страх, они привыкают к этой сказочной жизни, которую я подарил им посмертно.

Мюриэль Караде стала гражданкой Швейцарии Жанной Гримм, управляющей отелем «Диамант» на острове Маврикий; это тихая двухзвездная гостиница в стороне от роскошных пятизвездников. Моргану теперь зовут Амандиной, и новое имя ей очень нравится, а вот ее

брат находит свое — Седрик — еще хуже прежнего. Со временем они перестанут путаться в именах, привыкнут и к своим новым лицам. Я, во всяком случае, чувствую себя с нынешним гораздо лучше. Может, оно не слишком выразительное, и мне чуточку жаль морщинок у глаз — их еще называют «гусиными лапками», — которые проявлялись при улыбке, но здесь столько солнца, что «лапки» скоро вернуться.

На этом острове интереснейшая флора. Под защитой густых зарослей ризофор с воздушными корнями мангровые леса образуют природный заповедник, где симбиоз между видами опровергает все лабораторные теории. Я сделал кое-какие открытия, ставящие под сомнение общеизвестные истины. Должны же все эти знания, которые вложили мне в голову, чему-то послужить. К тому же я их пополняю. Разумеется, я всего лишь любитель: слишком поздно делать карьеру под новым именем и с навязанным извне призванием. А вот Седрика я хочу выучить по-настоящему. Он уже увлечен, и в моей жизни появился новый смысл: мы с ним исследуем лес Маврикия, я передаю ему то, что знаю, а остальное мы открываем вместе. Он твердо решил, что, когда вырастет, будет ботаником. Значит, есть кому подхватить эстафету.

Я спускаюсь по стволу с добычей — кокосом для них. Седрик раскалывает скорлупу ударом мачете, и мы делим его под зонтиком в утренней дымке — благодатная пора, когда можно почувствовать себя на необитаемом острове, пока не высыпали на пляж постояльцы.

— Ты отвезешь его в школу?

— Хорошо.

Улыбка озаряет лицо Жанны, перекроенное на мой вкус. Она делает вид, будто ей хорошо, но ее характер теперь не соответствует внешности. Я хотел ее таким образом защитить, но спутал ориентиры, разрушил все, что она выстроила, борясь с ударами судьбы и опираясь на гордость свободной, никому и ничем не обязанной женщины. Чтобы не сорваться, она работает по двенадцать часов в день, обслуживая курортников: усталость — ее единственное прибежище. Сколько понадобится времени, чтобы вернуться чары нашей несуразной ночи любви в Клиши? Когда она сможет посмотреть в лицо мужчине, которым я был, отбросить сомнения в моей истинной натуре, нашим настоящим зачеркнуть мое прошлое? Я жду. Я люблю ее молча, не тороплю — пусть сама снова поверит мне — и забочусь о неожиданно обретенной семье.

Она спрашивает, хорошо ли я спал. Я отвечаю «да», надеясь, что скоро это будет правдой. Но пока я каждую ночь возвращаюсь назад, снова и снова перебираю в снах воспоминания, больше не имеющие ко мне никакого отношения, — воспоминания о прошлой жизни, в которую наяву мне порой уже не верится.

Когда Ральф Ченнинг засунул мне в рот ствол пистолета, я всадил нож ему в живот. Потом поджег виллу, как они и собирались, и помчался в посольство США. Я сказал всего несколько слов, и меня немедленно провели в кабинет военного атташе. Я потребовал присутствия первого секретаря, представителей юридической службы и прямой телефон для переговоров с ЦРУ. Прежде чем дать какую бы то ни было информацию, я настоял также на включении в государственную программу защиты свидетелей. Высшая степень секретности, R37: официальная смерть, пластическая операция и новые документы. Только такая мера по-настоящему эффективна. Я знаю об этом не понаслышке: ей я обязан двумя невыполненными контрактами, единственными в моей карьере. Я подстраховался, сказав, что, если меня вздумают ликвидировать, информация о покушении попадет в прессу. У них не было возможности проверить, блефую я или нет. Они даже не знают, известно ли мне имя заказчика. У меня есть догадка на этот счет, но мне плевать. Единственная правда, которая теперь имеет значение, это наша настоящая жизнь по фальшивым документам.

Об остальном я узнал, как и все, из газет. В ночь на пятницу в результате утечки газа в доме 1 по улице Дюрас погибли два человека. В субботу утром президент США завтракал в Елисейском дворце со своим французским коллегой. У входа во дворец во время рукопожатий для прессы прогремел взрыв, вызвавший всеобщую панику. Служба безопасности немедленно задержала группу фотографов, но тревога оказалась ложной.

Вариант Далласа¹¹: дополнительная мера для прикрытия снайпера. Фотоаппарат, о котором заранее позаботилась Сабрина, должен был сработать, когда он держал свою мишень на прицеле, все подумали бы, что стрелял один из фотографов. За время, потраченное на его поиски, парочка успевала спокойно покинуть квартиру, прежде чем оцепят квартал.

Взорвавшаяся вспышка не была достаточным основанием для ареста, и через день фотографа отпустили. Официально он погиб вместе с нами в овраге в Валь-де-Марн. Среди обгоревших останков нашей машины удалось обнаружить следы присутствия по меньшей мере одного человека.

Все это кажется сегодня таким далеким, никак со мной не связанным: со временем люди из моей прошлой жизни стали совершенно абстрактными фигурами. Куда менее реальными, чем отец-садовник, которого создало мое воображение, опираясь на несколько услышанных под гипнозом фраз. Отец, который обрел плоть в моей коме и сказал: «*У тебя будет вторая жизнь, Мартин. Тебе решать, как ты ее проживешь*». Голос подсознания, отказ от жизни, которой я жил, не имея возможности изменить.

Стивена Лутца больше нет. Он зарастает личностью Мартина Харриса, его чувствами, как засохшее дерево плющом. Что осталось от человека, которым я был сорок два года? Сирота вьетнамской войны, вечный одиночка, бесчувственный и исполнительный, машина для убийств, отлаженная в Вест-Пойнтской академии, использованная в Гренаде, Палестине, Кувейте, усовершенствованная в лагерях подготовки в Неваде, переведенная в резерв под легендой агента по недвижимости в Сан-Франциско, человек, владеющий шестью языками, умеющий растворяться в толпе, попадающий в цель с трехсот метров и срастающийся под гипнозом с любой личиной... Что сохранил я от него? Физическую форму, быстроту реакции и три вещи, которых мне немного жаль: его пианино, его двухэтажная библиотека с окнами на Золотые Ворота и его кот, которого, надеюсь, приютили соседи.

Все остальное: холодная, привитая в детстве свирепость, вербовка в армию, ложное чувство товарищества, выработавшееся на учениях, равнодушие перед лицом смерти, плата за кровь, обращенная в редкие книги, — оставило лишь поверхностные следы. Я был результатом психологической обработки, и в один прекрасный день меня освободил от нее гипноз. Благодаря прививке личности, которая принялась. Благодаря тайне комы, превратившей банк данных в человека. За те шесть дней, когда я действительно считал себя другим, в моей голове что-то сдвинулось, и последствия этого я обнаруживаю в себе до сих пор.

Верю ли я в искупление? Не знаю, но, сомневаясь, все-таки иду по этому пути. Во всяком случае, я не верю в рок, не оглядываюсь на прошлое, не терзаюсь муками совести: важно не зло, которое я причинил, а добро, которое могу совершить. Пусть пройдет столько времени, сколько потребуется, но я верю в силу моей воли. Я по-настоящему стану тем человеком, которым себя воображал.

АВТОР БЛАГОДАРИТ

Профессора Жана-Мари Пельта за язык растений.

Жана-Клода Переса за расшифровку ДНК и открытия в области трансгенных мутаций.

Профессора Реми Шовена за осведомленность о некоторых парапсихических опытах в бывшем КГБ.

Профессора Пима ван Ломмеля за работы о коме и околосмертном опыте.

Йельский университет за теплый прием.

Джоэля Стернгеймера за музыкальные помидоры.

¹¹ В Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года был убит президент Джон Кеннеди.